

ИОСИФ БРОДСКИЙ

**Остановка
в
пустыне**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
НЬЮ ЙОРК 1970

HALT IN THE WILDERNESS

Poems by Joseph Brodsky

Chekhov Press

General Editor: Max Hayward

**Copyright © 1970, Chekhov Publishing Corporation
505 Eighth Ave., New York, N.Y. 10018**

**Printed in the United States of America
Library of Congress Catalog Card Number 72-119694**

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, в еврейской семье. Он по сей день живет в своем родном городе, в одной квартире с родителями. Отец Иосифа Бродского, фотограф по профессии, в настоящее время пенсионер.

Пятнадцати лет, по окончании восьмого класса, Бродский оставил школу. После этого он серьезно занялся самообразованием, изучил польский и английский языки. Он посвятил много времени глубокому знакомству с польской, английской и американской поэзией, классической мифологией, религиозной философией и т. д.

Писать стихи Бродский начал в 1958 году. Очень скоро он получил признание Анны Ахматовой как талантливейший лирик своего поколения. В декабре 1963 года, когда Бродский находился в тюрьме, ожидая суда, Ахматова адресовала ему такое посвящение на одном из своих поэтических сборников: «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными».

В марте 1964 года суд в Ленинграде приговорил Иосифа Бродского к пяти годам административной высылки как «тунеядца», не занимающегося общественно-полезным трудом. Поэта выслали в Архангельскую область на севере России, где он был вынужден выполнять тяжелую физическую работу. Но в ноябре 1965 года Бродскому разрешили вернуться. С того времени Иосиф Бродский продолжает жить в Ленинграде, пишет стихи и делает поэтические переводы.

Величайшим поэтом-лириком Бродский считает Джона Донна. Известно сильное стихотворение Бродского «Большая элегия Джону Донну» (1963). Два года спустя появились «Стихи на смерть Т. С. Элиота», написанные в подражание стихотворению Одена «В память Иейтса» (1939). Сейчас (в 1970 г.) Иосиф Бродский заканчивает книгу переводов из английских поэтов-метафизиков для ленинградского издательства. Он также недавно перевел пьесу ирландского писателя Брендана Бехана «The Quare Fellow».

В ленинградских литературных альманахах 1966 и 1967 годов напечатаны четыре стихотворения Иосифа Бродского, но подавляющее большинство произведений поэта в Советском Союзе не опубликовано. Летом 1969 года Иосифа Бродского приглашали на встречу «Интернационала поэтов» в Лондоне и на «Фестиваль двух миров» в Сполето (Италия), однако ему пришлось отказаться от этих приглашений!

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ

I

Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии. Не завоевывает ей место среди других поэзий (хотя делает и это тоже), но сообщает ей качества, необходимые для достижения уровня мировой. Это лишь определение того, чего он достигает; это — занятие, настолько высокое и настолько трудное, что при соответствующем подходе к нему может считаться достоинством.

Бродский создает гармонию, до сих пор в русской поэзии не существовавшую и — при предположениях о возникновении чего-либо подобного — казавшуюся в русской поэзии невозможной.

Как известно, русский язык, благодаря разнообразию падежных окончаний, глагольных форм, инверсий и тому подобных грамматических разрешений, отпускает так называемому классическому русскому стихотворению (то есть стихотворению с выраженным размером, определенно чередующимися окончаниями строк и рифмами) жизнь, практически как угодно долгую. Если оставить в стороне борьбу поэзии с этим стихосложением проистекающую из-за неграмотности поэта (Асеев, Слуцкий, Соснора и другие), то останется пресловутое желание поэзии не быть поэзией, на каком-то уровне литературоведения замечаемое почти всеми у больших поэтов и получившее наиочевиднейшее подтверждение у Маяковского.

Однако, случай Маяковского просто-напросто один из самых грубых, доступных, показательных. А между тем,

“поэзия” действительно сопротивляется “стиху” и ищет выражения, не зависящего от “стиха”. У автора Заметок нет намерения заниматься изысканиями по этому поводу, хотя от предполагаемых результатов подобных изысканий уже кружится голова. Маяковский, о котором упоминание требует своего завершения, старался лишить стих максимального количества его атрибутов: прежних рифм, прежних размеров, прежней музыкальности и, наконец, прежних слов. Деятельность эта — в сравнении с подобной деятельностью других поэтов — все-таки более всего механическая.

Бродский лишает “стих” функции “стиха” как самостоятельно существующей строчки. Иначе говоря, место “Куда, Мещерский, ты сокрылся?” или “Отцы пустынноики и жены непорочны” или “Люблю грозу в начале мая”, то есть строки часто существующие отдельно от всего стихотворения, — это место занимает стих, неотделимый от соседних и служащий им (так же, как они ему) прежде всего грамматически:

Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.

Одна элементарная частица содержания “поэзии”, единый “кусочек” (образ) требует несколько элементарных частиц формы (стихов). Формально и до Бродского существовало нечто подобное. Но, во-первых, это еще ни разу не было методом, манерой, и во-вторых, ни разу не приобретало такого размаха: в “кусочке” бывает до двадцати строчек, которые сами по себе не являются стихами в прежнем понимании этого слова, хотя и имеют все необходимые признаки. Например, приведенные четыре строчки не являются четверостишием в прежнем понимании и, несмотря на грамматическую завершенность, композиционно не завершены.

Такое растягивание, распространение образа, держащееся в основном на выявлении и усугублении подробностей его, приводят к тому, что становится известным прежде скрытое, зато обнаруживается присутствие областей, о существовании которых прежде и помину не было. То, что написано, перестает быть таинственным. Взамен приходит тайна вновь открытого, несущая в себе новый ужас. Наиболее наглядный пример этого — соревнование ножа в руке и внутренних щелей доски в “Исааке и Аврааме”.

Подобно этому, и метафора у Бродского несет изменчивую функцию. Сама по себе она преследует цель сделать высказанную мысль более понятной — что сходно с действием механизма случайных аналогий, принимаемых для облегчения беседы. Поэтому так часто употребляются слова “сродни”, “похоже на”, “напоминает” и тому подобное. Но изнутри метафоры, вернее, при развитии метафоры, на свет извлекается нечто, недоступное прямому заявлению. Таким образом, дело оказывается не в сравнении, расширяющем, разъясняющем, словом, улучшающем образ, а в проявлении мистики, невозможной без метафоры, попросту, не существующей без нее. В “Песнях счастливой зимы” метафора иногда и есть стихотворение. Например, в “Пусть дым совьется в виде той петли” основанием считать, что стихи состоят в подчинении у какой-то еще идеи, служит только последняя строчка “И он пошел во тьму с холмов еврейских”.

Все это определяет и такую особенность поэзии Бродского, как длинноты и вообще, большой объем стихотворений. В коротких стихах он не успевает разговориться. Отсюда сравнительные неудачи его так называемых сонетов (все-таки не-сонетов, несмотря на выполнение необходимых формальных условий). Исключение составляет “Ветер покинул лес”, где особенно разговариваться не имело смысла.

Вообще же Бродский должен “разойтись”, чтобы из разных концов Пространства “заходя” на одни и те же цели, минуя одни и те же места по несколько раз, кружа над ними на разных высотах (“Уснули...” и так далее в “Джоне Донне”), получить возможность узнать об окружающем все Познаваемое и, исчерпав эту возможность, обозначить границы Непознаваемого (“Еще, я знаю, есть одна гора” в “Исааке и Аврааме”).

Тот же результат достигается и в случае, когда все границы обусловлены заранее: Пространство, так сказать, постоянно, а Время используется таким образом, чтобы реальность имела меняющуюся скорость. Иногда, это изменение — суть ускорение, приводящее к предельным значениям материальной скорости, с которых начинается полет самого Духа (“Ты поскачешь во мраке”). Иногда скорость меняется более сложным образом, и тогда Дух находит другую форму — например, Море (“Einem alten Architekten”).

Поэзия Бродского — это поэзия знания в той степени цельности, которой не пристало ни раздробляться в мелкие части (что якобы уточняет значение, а на деле приводит к новому уровню незнания, причем уровню уже не свойственным склонностям исследователя), ни представляться частью чего-то большего (что якобы дает большой кругозор, а на деле приводит к ускользанию знания, к размытым границам, то есть к неточности). Бродский оставляет Духу его “классические” обиталища: Природу, Небеса, Дом, Богов. Очень осторожно, понемногу вводя в стихи внешнюю современность, он оставляет преобладающее место разнообразным породам птиц, видам деревьев, разнообразию утвари, мифологическим персонажам, и прочим достижениям, так сказать, старых наук. Но эти самые “старые науки” известны и читателю, причем известны по каким-то блаженной памяти детским годам, так что содержание знания не

только не отдаляет читателя, но наоборот, располагает его к ним. Знание Бродского того же плана, что и география и астрономия Данте, обладающие убедительностью не меньшей (если не большей), чем наши география и астрономия; такие ясные внешне, дантовские науки невероятно таинственны и манящи.

Бродский начинал с гражданской лирики в вульгарном ее понимании. В те дни это был Слуцкий. Бродскому понадобилось очень мало времени, чтобы раскусить его и написать “Петербургский роман”. Затем пошли стихи, основанные на представлении о том, каковы стихи на Западе. Запад был туманным, стихи — в виде развязных современных переводов с какого угодно языка. Стихи Бродского этого периода дали замечательный цикл “Августовское интермеццо” и рекордный “Рождественский романс”. В это же время он начинает представлять себе, что такое поэма. Он читает цветаевского “Крысолова” и пишет “Шествие”.

Следующий период — полонофильский (в особенности Норвид и Галчинский). Возможности аллегории приводят к “Холмам” и всякого рода “скачкам” (“Ты поскачешь во мраке”, “Черный конь”, “Два всадника” и тому подобное); возможность диалога к “Птицей, птицей он был”, а впоследствии, когда сначала у себя на Пестеля, а затем в комнатухе на Воинова он читал Библию, к “Исааку и Аврааму”.

И наконец, он открывает великие английскую и американскую поэзии. Он пишет “Песни счастливой зимы”, цикл завершившийся “Большой элегией Джону Донну” и с тех пор не забывает про них.

А дальше начинается период жизни, далекий от литературы, период, в котором комплекс Мафусаила, столь занимавший его прежде, предстал пред ним во всей своей красе, но во всей своей библейской непреклонности. И если главной темой поэзии Бродского не стало то, что в частных письмах

он называл “noblesse oblige”, то есть, его несвобода и страдания, причиняемые ею, то потому лишь, что место это заняла тема отсутствия выбора в проявлении воли, чего бы это ни касалось: свободы, любви, моря, движения...

На протяжении всех последних пяти лет в поэзии Бродского идет борьба между желанием спрятать страсть за пределы стихотворения и сделать стихотворение самой страстью, между стихами словно бы посторонними по отношению к испытываемой страсти, и прямо ее выражающими. И в том и в другом направлении он достиг замечательных результатов. Первое — возвышенной, второе — жизненно действенной; первое — долговечней, второе — платежеспособней; первое преобладает, и это прекрасно.

1964

II

Десять лет тому назад, когда Бродский, ужасаясь и ужасая других, читал первые свои стихи, почти каждое их слово казалось ему нестерпимо бессмысленным, и он пропускал их по одному, по десятку, целыми строфами, надеясь продемонстрировать слушателю, как прекрасны были бы эти стихи, не будь они опозорены словами.

Сейчас, после того, как промелькнуло это десятилетие, Бродский — автор нескольких книг стихов, доброжелатели и недоброжелатели говорят о нем с почтением, ему подражают, и он читает свои стихи с артистизмом основанным на знании почти всех слов, необходимых ему для того или другого стихотворения. Он “добился почти всего, чего можно было добиться, и потерял почти все, что можно было потерять”.

С державинских времен положение поэта в России круто изменялось от поколения к поколению, пока не приобрело, наконец, противоположных форм. Непризнание поэта публикой, чернью, властью, гонения на поэта всегда переживались обществом острее, чем непризнание какого-нибудь гениального механика или гонения на астронома. Причиной тому — сама природа поэтического, способного возбудить в человеке чувство, используя особый дар владения человеческими словами: слабый лирик умеет пожаловаться куда более душераздирающе, чем сильный физик.

Державин полагал и утверждал, что поэт — это член общества с значительными привилегиями перед остальными, привилегиями, дающимися не за неуловимые связи с небесами, а за умение лучше всех остальных написать оду, внушительней всех остальных передать важную мысль. Исключительность поэта, по его разумению, на деле должна быть сродни исключительности какого-нибудь министра, и не только не надо кичиться непризнанием и гонениями, но следует всячески избегать их, оставив глупцам поприще ниспровергателей основ.

Пушкин со своей образцовой биографией преследуемого не был, тем не менее, мальчиком, лезущим на рожон. У него был другой, не-державинский темперамент, и он бесился, не в силах разом избавиться от душной пошлости и бесчувственной тирании эпохи. Но изгоем, парией, цветаевским “поэтом” он категорически не желал быть, писал в подобающем тоне письма Бенкендорфу и стансы царю, и только нигилизм последующих поколений превратил твердость его убеждений в вызов обществу, а трагедию его судьбы в акт уничтожения поэта властью. И потому Некрасов уже с чистой душой обличал низость власть имущих, считая, что поэт — это гражданин, миссия которого возглавить недовольных системой. Блок противопоставлял поэта миропорядку

с большей, чем у Некрасова, убедительностью, однако, тогда это считалось само собой разумеющимся и выглядело довольно безобидно.

В двадцатом веке писание стихов превратилось в смертельно опасное занятие. Опасность возросла, разумеется, не от появления в стихах каких-то новых, прежде не бывших качеств, а оттого, что по взаимному негласному уговору куда более нормальные виды деятельности — и те стали считаться провинностью. В обстановке, когда сама возможность жизни поэта и его близких не то, чтобы была под угрозой уничтожения, но прямо уничтожалась, нельзя было писать стихи, делая вид, что это в порядке вещей. Судьбы Ахматовой и Мандельштама — тому примеры.

Вот объяснение того, как ходячая истина, в мягкой форме выраженная словами “поэт пребывает не в ладах с действительностью”, стала нормой общественного мнения. Те, кто пишет стихи, находясь в плену у этого мнения и потакая ему, при всяком удобном случае выдают свое неблагополучие за непоправимую беду, беду — за трагедию личной жизни, а трагедию — за ужас существования вообще.

Бродский возвращает поэзии ее принадлежность литературе как таковой, ее цеховое достоинство, ее привилегированное гражданство. Представление, по которому поэт — существо не от мира сего и возводящее очи горе так же чуждо ему, как и представление, по которому поэт занят исключительно тем, чтобы наносить удары по действительности. Если между мнимыми pro и contra он чаще на стороне contra, то потому главным образом, что contra намного интереснее. Так, сшибающий по редакциям куски, представитель “пятого сословия” Иосиф Бродский проповедует ту же идею, тот же взгляд на поэзию, что и екатерининский вельможа, хлебосольный барин Гаврила Романович Державин.

Бродский начинал со стихов, из которых одно или два и поныне поются в разных компаниях под гитару. В них были — вообще тоска, вообще негодование, вообще чувство. Почти сразу он сошелся с ленинградскими поэтами, которые были немногим старше его и которых Ахматова однажды назвала “аввакумовцами”. У них он на всю жизнь научился писать стихи словами, а не фразами, как было принято тогда и почти повсеместно принято сейчас.

С Богом он ведет себя безукоризненно (“Я глуховат. Я, Боже, слеповат.”), однако, по-настоящему своим чувствует себя только по отношению к Небесам. Метафизическая сущность его поэзии, сводящаяся к тому, что

Жизнь отступает от самой себя
и смотрит с изумлением на формы,
и к тому, что

...душа за время жизни
приобретает смертные черты, —
получена им контрабандой.

Перед людьми он декларирует заведомую невозможность счастья, для которого губительно уже само существование,

поскольку заливает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.

Рифмует он точно и старается пользоваться словарем первого порядка. Это придает его поэтической речи авторитет, в котором он (довольно часто ни в ком не находя поддержки) так сильно нуждается.

Н. Н.

*...Men must endure
Their going hence, even as their
coming hither.
Ripeness is all.*

King Lear, Act V, Scene 2.

I

ХОЛМЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью.

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
плывет в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

1962

БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ

Джону Донну

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятыях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
Ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шопот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.

Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, крабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло всё. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
По одиночке. Крепко. Спят в объятых.
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геена спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.

И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летеиских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
И цепи спят. Чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.
Но, чу! Ты слышишь — там в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонко, впрямь игла.
А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко.
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей? Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?»

Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет». Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил, подул в трубу, а кто-то громко лает? Но что ж, лишь я один глаза открыл, а всадники своих коней седлают. Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы. А гончие уж мчат с небес толпою. Не ты ли, Гавриил, среди зимы рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн. Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов, и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду, весь, взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край. И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви. Ты видел также явно светлый Рай в печальнейшей — из всех страстей — оправе. Ты видел: жизнь, она как остров твой. И с Океаном этим ты встречался: со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался. Но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир — лишь сотня башен да ленты рек, и где, при взгляде вниз, сей страшный суд почти совсем не страшен. И климат там недвижим, в той стране. Оттуда все, как сон больной в истоме. Господь оттуда — только свет в окне туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают. Их не пашет плуг. Года не пашет. И века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, а только дождь в траве огромной пляшет.

Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиний лай.
и колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя придти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить свою плотью, сшить разлуку.
Но, чу, пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.

Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло всё. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно всё тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

1963

ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ...

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу,
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

1961

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу аров.

Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.

В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна!
Рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна! Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна!

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редкоселья,
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
Это наша зима всё не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и, полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,
оттого что подобно растению
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
оттого, что мы всё потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героек,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всеильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
шелестят фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно.

То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это всё неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких.

Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описанием утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам на стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.

БЫЛ ЧЕРНЫЙ НЕБОСВОД...

Был черный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего.
Как уголь, были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но всё-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.

Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал,
раздавленными сучьями шуршал?

Зачем струил он черный свет из глаз?
Он всадника искал себе среди нас.

1961

ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ...

Теперь всё чаще чувствую усталость,
всё реже говорю о ней теперь.
О, промыслов души моей кустарность,
веселая и теплая артель.

Каких ты птиц себе изобретаешь,
кому их даришь или продаешь,
и в современных гнездах обитаешь,
и современным голосом поешь?

Вернись, душа, и перышко мне вьнь,
пускай о славе радио споем нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших.
Вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.

ИЗ «СТАРЫХ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН»

Зимняя свадьба

Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
И долго колокол гудел
В той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,
Видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой вдаль,
И не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.
И столько свеч для нас двоих!
И я считаю их.

1961

ВСЕ ЧУЖДО В ДОМЕ...

Все чуждо в доме новому жильцу.
Поспешный взгляд скользит по всем предметам,
чьи тени так пришельцу не к лицу,
что сами слишком мучаются этим.
Но дом не хочет больше пустовать.
И, как бы за нехваткой той отваги,
замок, не в состоянии узнавать,
один сопротивляется во мраке.
Да, сходства нет меж нынешним и тем,
кто внес сюда шкафы и стол и думал,
что больше не покинет этих стен,
но должен был уйти; ушел и умер.
Ничем уж их нельзя соединить:
чертой лица, характером, надломом.
Но между ними существует нить,
обычно именуемая домом.

1962

ХОЛМЫ

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калек
ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кусков кирпича.
Над розовым шпилем банка
ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
электрик венчался там.
А здесь на холме было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
Только комар жужжал.

Трава там была примята,
где сидели они всегда.
Повсюду черные пятна
оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно.
Но они не знали о том.

Окурки, спички и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —
как и сидели там.

По разным склонам спускались,
случалось боком ступать.
Кусты пред ними смыкались
и расступались опять.
Скользили в траве ботинки.
Меж камней блестела вода.
Один достигал тропинки,
другой в тот же миг пруда.

Был вечер нескольких свадеб
(кажется, было две).
Десяток рубах и платьев
маячил внизу в траве.
Уже закат унимался
и тучи к себе манил.
Пар от земли поднимался,
а колокол всё звонил.

Один, кряхтя, спотыкаясь,
другой, сигаретой дымя —
в тот вечер они спускались
по разным склонам холма.
Спускались по разным склонам,
пространство росло меж них.
Но страшный одновременно
воздух потряс их крик.

Внезапно кусты распахнулись,
кусты распахнулись вдруг.
Как будто они проснулись,
а сон их был полон мук.
Кусты распахнулись с воем,
как будто раскрылась земля.
Пред каждым возникли двое,
железом в руках шевеля.

Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам.
Другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь.

Еще пробирались наощупь
к местам за столом женихи,
а страшную весть на площадь
уже принесли пастухи.
Вечерней зарей сияли
стада густых облаков.
Коровы в кустах стояли
и жадно лизали кровь.

Электрик бежал по склону
и шурин за ним в кустах.
Невеста внизу обозленно
стояла одна в цветах.
Старуха, укрытая пледом,
крутила пред ней тесьму,
а пьяная свадьба следом
за ними неслась к холму.

Сучья под ними трещали,
они неслись, как в бреду.
Коровы в кустах мычали
и быстро спускались к пруду.
И вдруг все увидели ясно
(царила вокруг жара):
чернела в зеленой ряске,
как дверь в темноту, дыра.

Кто их оттуда поднимет,
достанет их из пруда?
Смерть, как вода над ними,
в желудках у них вода.
Смерть уже в каждом слове,
в стебле, обвиншем жердь.
Смерть в зализанной крови,
в каждой корове смерть.

Смерть в погоне напрасной
(будто ищут воров).
Будет отныне красным
млеко этих коров.
В красном, красном вагоне
с красных, красных путей,
в красном, красном бидоне
— красных поить детей.

Смерть в голосах и взорах.
Смертью полн воротник.
Так им заплатит город:
смерть тяжела для них.
Нужно поднять их, поднять бы.
Как превозмочь тоску,
если убийство в день свадьбы,
красным — быть молоку?

Смерть — не скелет кошмарный
с длинной косой в росе.
Смерть — это тот кустарник,
в котором стоим мы все.
Это не плач похоронный,
а также не черный бант.
Смерть — это крик вороний,
смерть — это красный банк.

Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть — это стекла в бане,
в церкви, в домах — подряд!
Смерть — это все, что с нами —
ибо они — не узрят.

Смерть — это наши силы,
наши труды и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.
Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.

Розы, герань, гиацинты,
пионы, сирень, ирис —
на страшный их гроб из цинка
розы, герань, нарцисс,
лилии, словно из басмы,
запах их прян и дик,
левкои, орхидеи, астры,
розы и сноп гвоздик.

Прошу отнести их к берегу,
вверить их небесам.
В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К черным лесным протокам,
к темным лесным домам,
к мертвым полесским топям,
вдаль — к балтийским холмам.

Холмы — это наша юность.
Гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав.
Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.

Холмы — это наши страдания.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
всё это — в их кустах.

Холмы — это вечная слава.
Стоят всегда напоказ
от наших страданий вправо.
Холмы — это выше нас.
Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.
Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.
Смерть — это только равнины.
Жизнь — холмы, холмы.

ТЫ ПОСКАЧЕШЬ ВО МРАКЕ...

Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме,
к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве,
по песчаному дну,
освещенный луной, и ее замечая одну.
Гулкий топот копыт по застывшим холмам —
это не с чем сравнить,
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь
впотьмах,
возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних холмах,
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух
бьет по лицу,
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.
Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов,
не отыщется след,
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,
всё равно ты его ни за что никогда не сумеешь догнать,
кто там скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю —
обращаюсь к природе от лица треугольных домов,
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнутых окон бьет прекрасный роаль,
разливается свет,
кто-то скачет в холмах, освещенный луной,
возле самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов.
Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд,
кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.
Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц,
ибо сотни холмов — паразитических круп кобылиц,
на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ,
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.
Всё равно — возвращенье, всё равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат.
Даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Ты, мой лес и вода, кто объедет, а кто, как сквозняк,
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,
кто лежит в темноте на спине в ледящем ручье.
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,
потому что не жизнь, а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слышать, как проходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно
маятник сна.

1962

ДВА СОНЕТА

1

Великий Гектор стрелами убит.
Его душа плывет по темным водам,
шуршат кусты и гаснут облака,
вдали невнятно плачет Андромаха.

Теперь печальным вечером Аякс
бредет в ручье прозрачном по колено,
а жизнь бежит из глаз его раскрытых
за Гектором, а теплая вода
уже по грудь, но мрак переполняет
бездонный взгляд сквозь волны и кустарник,
потом вода опять ему по пояс,
тяжелый меч, подхваченный потоком,
плывет вперед
и увлекает за собой Аякса.

1961

2

Г. П.

Мы снова проживаем у залива,
и проплывают облака над нами,
и современный тарахтит Везувий,
и оседает пыль по переулкам,
и стекла переулков дребезжат.
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час
приехать на окраину в трамвае,
войти в твой дом,
и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.

1962

ИСААК И АВРААМ

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет — пойдн ищи-свищи.

И этой также — капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
Что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно — лишь крича:
«Исак! Исак!» — и это справа, слева:
«Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
и всех потом к нему воззвать заставить —
ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра Воска?

«Идем же, Исаак», — «Сейчас иду».
«Идем быстрей». — Но медлит тот с ответом.
«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».
(Свеча горит во мраке полным светом).
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
«Чего ты встал?» — «Глаза полны песку».
«Не отставай». — «Нет-нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к пустому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним
ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.
Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».
Волна пришла и вновь уходит вспять.
Как долгий разговор, смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но нет здесь брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.

Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии — челны, челны,
вода глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут»
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери — спины свет закрыли.
Сейчас они — по вертикали — вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...
И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножья, *largo*
волна шуршит и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листья,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему всё ближе, ниже.

Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы с тенями их родными,
глядят в упор, и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночью,
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
в безумный счет свергает быстро рошу.
Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
«Здесь недалеко», куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал вида и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.
Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,
разросшейся над ним — и там звезда
среди них (корней) зажгла свой свет прозрачный.

Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.
И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставаясь.
По сути дела, куст похож на всё.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо —
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.

С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
«Идем скорей». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой», — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей», — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрее. Пошли». — «Сейчас». — «Не слышу».
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
Он с кровью схож — она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).
Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.
Движенья в них, в них точно та же дрожь.
Смыкаются они, а что в их сени?
Смыкаются и вновь спешат назад.
Пресечь они друг друга здесь не могут.
Мешаются в ночи, вблизи скользят.
Изогнуты суставы, лист изогнут.
Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,
а те, кто жаждет прочь — тотчас трещат
и падают — и вот он, хворост, хворост.
И вновь над ними ветер мчит свистя.
Оставшиеся — вмиг — за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружиной некой.
Всё жаждет в этом царстве чувств:
как облик их, с кустом пустынным схожий,
колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.
Не только облик (чувств) — должно быть, весь
огромный мир — грубей, обширней, тоньше,
стократ сильней (пышней) — столпился здесь.
«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
У ветки «К» отростков только два,
а ветка «У» — всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова
учить по форме букв, в ущерб составам.
«Эй, Исаак!» — «Сейчас, иду. Иду».
(Внутри него горячий пар скопился.
Он на ходу поднес кувшин ко рту,
но поскользнулся, — тот упал, разбился).
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна, и каждый новый шаг
сверкает, как серебро в песчаном злате.
Холмы, холмы. Не видно им конца.
Не видно здесь нигде предметов твердых.
Всё зыбко, как песок, как тень отца.
Неясный гул растет в небесных сверлах.
Блестит луна, синеет густо даль.
Сплошная тень, исчез бесследно ветер.
«Далеко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль»,
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц,
но всё молчат: они идут ведь рядом.
Но Аврааму ясно всё и так:
они пришли, он туфлей ямки роет.
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.
Они себе вот здесь ночлег устроят.
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему — и вот: «Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».

«Идем же». — Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Всё небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Всё тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку бросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломают Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
«Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы». — Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их — теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
однако, здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь — в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью — пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, —
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.

Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накиннул тряпку:
«Подай сюда. Сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:
«Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и всё спешил вдогонку,
но так как мы пришли, прошла беда) —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну, ладно, хочешь выпить?»
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там всё сильнее гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: — «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
«В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он сам устроит...»
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.
Блестит звезда. Всё ближе сонный царь
подходит к Исааку. Вот он рядом.
«Там жертвенник давнишний. Сложен он
давным-давно... Не помню кем, однако».
Холмы песка плывут со всех сторон,
как прежде, — будто куст не подал знака.

Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:
Безмолвный куст пред ним ветвями машет.
Он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы — больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто
тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви всё длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва всё ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму всё выше.
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, С и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.

И ветви, видит он, длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.

Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...

На самом деле — дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,
его понес туда, откуда след
протоптан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,
и Исаака он на это ложе
сложил сейчас — и всё проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб он резал в доме...)
«Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной — кинжал, в другой — родная плоть.
«Сейчас соединю...» — и тут же замер,
едва пробормотав: «Спаси, Господь» —
из-за бархана быстро вышел ангел.
«Довольно, Авраам», — промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул, — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим всё. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай они узрят, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твоей кинжал, но плоть ничью не ранят.

Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах — так то с кустов живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза — здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу —
ответь же мне — идем». Поднялся ветер.
«Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми — с людьми родными,
где всё, что есть, живет в одном плену,
где всё, что есть, стократ изменит имя.

Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
Кусты окружают их, поглотит шаг
трава полей, и лес в родной лазури
мелькнет, как Авраам, как Исаак.
Идемте же. Сейчас утихнет буря.
Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же, Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Всё.
Конец всему. Всё ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь всё ясно точно».

Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
что отразились тут же рядом в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят кусты, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь шелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь всё полно щелей, просветов, трещин.

Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, —
пуская она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это всё пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела гораздо хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет кося, —
куда, — лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колетя внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски — и кто сильнее...
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
Там, где лежат верблюды, Исаак
с каким-то пришлецом ведет беседу.

Дымят костры, летают сотни птиц.
Кричит овца, жужжит оса невнятно.
Струится пар с горячих красных лиц.
Шатры лежат в долине, словно пятна.
Бредут стада. Торчит могильный дом.
Журчит ручей, волна траву колышет.
Он восторжен: в воздухе пустом
он собственное имя снова слышит.
Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,
идет народ, с востока туча идет.
Вокруг костров, как в танце, псы кружат,
шумят кусты, и вот бугор он видит.
Стоит жена, за ней шатры, поля.
В ее руке — зеленой смоквы ветка.
Она ей машет и зовет царя:
«Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».

«Идем, Исаак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду», ответ среди веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот, — туда, где гаснет окрик.
«Исаак, не отставай». — «Нет, нет, иду».
(Березка проявляет мощь и стойкость.)
«Исаак, ты помнишь дом? — «Да-да, найду».
«Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».
«Идем, Исаак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой» — (под шапку, как под крышу).
«Давай, скорей», — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрее. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».
По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.

(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит «С», мы знаем из к у с т а :
«С» — это жертва, связанная туго.
А буква «А» — среди этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же, — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы «К»
и к одинокой «А» стремится прямо».
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И снова жертва на огне кричит:
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Дождь барабанит по ветвям, стучит,
как будто за оградой кто-то плачет
невидимый. «Эй, кто там?» — Всё молчит.

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой». Долдонит дождь о крышу.
«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрее. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.

В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру 8.
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру 8 — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым снопом:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрерывно. Всё блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по жолобу свергаясь вниз, свистит.
Намокшие углы дома возносятся.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть всё к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в окне напротив.

Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный вал щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт:
всё это — только море, только море.
И всё ж она стремится свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.
Засов гремит и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И всё-таки она горит, горит.
Но пожирает нечто, больше жизни.

Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит — горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.

1963

ПОД ВЕЧЕР ОН ВИДИТ...

1

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестных полях,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и долго не могут друг друга догнать.
То бросив поводья, поникнув, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому склону холма,
то в рощу опять, где сгущается тьма.

Два всадника скачут в вечерней грязи,
не только от дома, от сердца вблизи,
друг друга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И так никогда им на свете вдвоем
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем,
не ехать в виду станционных постов,
как будто меж ними не сотня кустов!

Вечерние призраки — где их следы,
не видеть двойного им всплеска воды,
их вновь возвращает себе тишина,
он знает из окриков их имена.
По сельской дороге в холодной пыли,
под черными соснами, в комьях земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.

2

Пустая дорога под соснами спит,
смолкает за стеклами топот копыт,
я знаю обоих, я знаю давно:
так сердце стучит, как им мчаться дано.

Так сердце стучит: за ударом удар,
с полей наплывает холодный угар,
и волны сверкают в прибрежных кустах,
и громко играет любимый состав.

Растаял их топот, а сердце стучит!
Нисходит на шопот, но всё ж не молчит,
и, значит, они продолжают скакать!
Способны умолкнуть, не могут — смолкать.

Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

3

Июльской ночью в поселке темно.
Летит мошкара в золотое окно.
Горячий приемник звенит на полу,
и смелый Гиллеспи подходит к столу.

От черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.

Я жизни своей не люблю, не боюсь,
я с весом своим ни за что не борюсь.
Пусть что угодно вокруг говорят,
меня беспокоят, его веселят.

У каждой околицы этой страны,
на каждой ступеньке, у каждой стены,
в недалеое время, брюнет или блондин,
появится дух мой, в двух лицах один.

И просто за смертью, на первых порах,
хотя бы вот так, как развеянный прах,
потемки застав над бумагой с утра,
хоть пылью коснусь дорогого пера.

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном,
то дальше, то ближе, за юной тоской
несется во мраке прекрасный покой.

Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по застывшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

ОГОНЬ, ТЫ СЛЫШИШЬ,...

Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам — зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
Да, воинство сие не слышит слов.
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.
Бесшумно наступает из углов,
и я внезапно оказался в центре.
Всё выше снизу взрывы темноты.
Подобны восклицательному знаку.
Всё гуще тьма слетает с высоты,
до подбородка, комкает бумагу.
Теперь исчезли стрелки на часах
Не только их не видно, но не слышно.
И здесь остался только блик в глазах,
застывших неподвижно. Неподвижно.
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.
Горючий дым под потолком витает.
Но этот блик — не покидает глаз.
Вернее, темноты не покидает.

1962

ГЛАГОЛЫ

Меня окружают молчаливые глаголы,
похожие на чужие головы

глаголы,
голодные глаголы, голые глаголы,
главные глаголы, глухие глаголы.

Глаголы без существительных, глаголы — просто.

Глаголы, которые живут в подвалах,
говорят — в подвалах,

рождаются — в подвалах
под несколькими этажами
всеобщего оптимизма.

Каждое утро они идут на работу,
раствор мешают и камни таскают,
но, возводя город, возводят не город,
а собственному одиночеству памятник воздвигают.

И уходя, как уходят в чужую память,
мерно ступая от слова к слову,
всеми своими тремя временами
глаголы однажды восходят на Голгофу.

И небо над ними,
как птица над погостом,
и, словно стоя
перед запертой дверью,
некто стучит, забивая гвозди
в прошедшее,
в настоящее,
в будущее
время.

Никто не придет и никто не снимет.

Стук молотка
вечным ритмом станет.

Земли гипербола лежит под ними,
как небо метафор плывет над ними!

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

*«То, что дозволено Юпитеру,
не дозволено быку...»*

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность —
удел быков...
Богово станет
нам
Сумерками богов.
И надо небом
рискнуть,
И, может быть,
невыпадет.
Еще нас не раз
распнут
И скажут потом:
распад.
И мы
завоем
от ран.

Потом
взалаем даров...
У каждого свой
храм.
И каждому свой
гроб.
Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!...
...Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.

ПЕСЕНКА О ФЕДЕ ДОБРОВОЛЬСКОМ

Желтый ветер манчжурский,
говорящий высоко
о евреях и русских,
закопанных в сопку.

О, домов двухэтажных
тускловатые крыши!
О, земля-то всё та же.
Только небо — поближе.

Только минимум света.
Только утлые птицы,
словно облачко смерти
над землей экспедиций.

И глядит на Восток,
закрываясь от ветра,
черно-белый цветок
двадцатого века.

ПРОПЛЫВАЮТ ОБЛАКА

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие
постепенно,
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы
с красными гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» —
это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака...» — это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин всё — биение, всё — дрожание голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит.
Привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...
«Проплывают облака...» — это дети поют обо всём.

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса,
возле узких вершин в новых сумерках на мгновение
видишь сызнава, видишь сызнава угасшие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей.
Где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль
осенних оград,
всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть
ребенком ночью,
и смотреть всё вверх, только плакать и петь
и не знать утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль
деревьев неясных
в новых сумерках пенье, только плакать и петь,
только листья сложить.
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь, только жить.

А. А. АХМАТОВОЙ

Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.

Запоеет над переулком флаголет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.

И помчатся, задевая за кусты,
невидимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.

Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным солнцем залитой,
на вопросы и проклятия в ответ,
обволакивая паром этот свет.

Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно, без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.

Вы поднимете прекрасное лицо —
громкий смех, как поминальное слово,
звук неясный на нагретом мосту —
на мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревьям,
по отечеству, без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но там Вы не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
этот воздух запустевший только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!»

1962

СОНЕТ

Прошел январь за окнами тюрьмы,
и я услышал пенье заключенных,
звучащее в кирпичном сонме камер:
«Один из наших братьев на свободе».
Еще ты слышишь пенье заключенных
и топот надзирателей безгласных,
еще ты сам поешь, поешь безмолвно:
«Прощай, январь».
Лицом поверотьясь к окну,
еще ты пьешь глотками теплый воздух.
А я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору
в ту дальнюю страну, где больше нет
ни января, ни февраля, ни марта.

1962

II

ANNO DOMINI

Я ОБНЯЛ ЭТИ ПЛЕЧИ...

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидел, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижности сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

ЗАГАДКА АНГЕЛУ

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.
Но в чьем-то напряженном взоре
маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море.
Висит в кустах аэростат.
Две лодки тонут в разговорах,
что туфли в комнате блестят,
но устрицам не дают створок.

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети в темноте повисли
пустыми в этой глубине,
но всё же ожидают всплыть
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.

Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и опустит в другое место.

Так тихо, что не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,
а куст перед крыльцом — буруном.

Но дом недвижим, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.
Часы стрекочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер,
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль.
И ветер паутину гонит,
из веток шевеля вуаль,
где глаз аэростата тонет.
Сеть выбрана, в кустах угод
свистком предупреждает кражу,
и молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.

1962

ЛОМТИК МЕДОВОГО МЕСЯЦА

М. Б.

Не забывай никогда,
как хлещет в пристань вода,
и как воздух упруг,
(как спасательный круг).

А рядом — чайки галдят,
и яхты в небо глядят,
и тучи вверху летят,
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,
как рыба, бьется живьем
и трепещет обрывок
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст,
Пусть топорщится куст.
И пусть тебе помогает
страсть, достигшая уст,

понять — без помощи слов —
как пена морских валов,
достигая земли,
рождает гребни вдали.

1963

ТЫ ВЫПОРХНЕШЬ, МАЛИНОВКА...

М. Б.

Ты выпорхнешь, малиновка, из трех
малинников, припомнивши в неволе,
как в сумерках вторгается в горах
ворсистое люпиновое поле.
Сквозь сомкнутые вербные усы
— туда, где, замирая на мгновенья,
бесчисленные капельки росы
сбегают по стручкам от столкновенья.

Малинник встрепенется, но в залог
оставлена догадка, что, возможно,
охотник, расставляющий силок,
валежником хрустит неосторожно.
На деле же — лишь ленточка тропы
во мраке извивается, белея.
Не слышно ни журчанья, ни стрельбы,
не видно ни Стрельца, ни Водолея.

Лишь ночь под перевернутым крылом
бежит по опрокинувшимся кущам,
— настойчива, как память о былом,
безмолвном, но попрежнему живущем.

24. V. 1964

ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

Песни счастливой зимы
на память себе возьми,
чтоб вспоминать на ходу
звуков их глухоту:
местность, куда, как мышь,
быстрый свой бег стремишь,
как бы там ни звалась,
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,
так ты смотришь вперед,
как глядит в потолок,
глаз пыля, ангелок.
А снаружи — в провал
снег, белей покрывал
тех, что нас занесли,
но зимы не спасли.

Значит, это весна.
То-то крови тесна
вена: только что взрежь,
море ринется в брешь.
Так что — виден насквозь
вход в бессмертие врозь,
вызывающий грусть,
но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы
на память себе возьми.
То, что спрятано в них,
не отыщешь в иных.
Здесь, от снега чисты,
воздух секут кусты,
где дрожит средь ветвей
радость жизни твоей.

1963

ОДНА ВОРОНА...

Одна ворона (их была гурьба,
но вечер их в ольшанник перепрыгал)
облюбовала маковку столба,
другая — белоснежный изолятор.
Друг другу, так сказать, насупротив
(как требуют инструкций незабудки),
контроль над телеграфом учредив
в глуши, не помышляющей о бунте,
они расположились над крыльцом,
возвысясь над околицей белесой,
над сосланным в изгнание певцом,
над спутницей его длинноволосой.

А те, в обнимку, думая свое,
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,
стоят внизу. Она — на острие,
а он — на изолятор загляделся.
Одно обоим чудится во мгле,
хоть (позабыв про сажу и про копать)
она — все об уколе, об игле,
а он — об изоляции, должно быть;
(какой-то непонятный перебор.
Какое-то подобие аврала:
Ведь если изолирует фарфор,
зачем его ворона оседлала).

И всё, что будет, зная назубок
(прослывши знатоком бывшего тонким),
он высвободил локоть, и хлопок
ударил по вороньим перепонкам.
Та, первая, замешкавшись, глаза
зажмурила и крылья распростерла.
Другая же — взвилась под небеса
и каркнула во всё воронье горло,
приказывая издали и впредь
фарфоровому шарiku (над нами)
помалкивать и взапуски белеть
с забредшими в болото валунами.

17. V. 1964

ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ты знаешь, с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,
откуда приближаются к тебе
смятенье, исходящее от А,
надежда, исходящая от Б.

Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся в уме,
разлуку умножая на зарю,
хотя бы и не встретившись в уме.

1964

ПРОРОЧЕСТВО

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.
Но выйдет так, как учат пионеры,
что счет пойдет на дни — не на года, —
оставшиеся нам до новой эры.
В Голландии своей, наоборот,
мы разведем с тобою огород
и будем устриц жарить за порогом
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,
мы загорим с тобой по-эскимосски,
и с нежностью ты пальцем проведешь
по девственной, нетронутой полоске.
Я на ключицу в зеркало взгляну
и обнаружу за спиной волну
и старый гейгер в оловянной рамке
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,
чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот
нас вместе с козырями отнесет
от берега извилистость отлива.
И наш ребенок будет молчаливо
смотреть, не понимая ничего,
как мотылек колотится о лампу,
когда настанет время для него
обратно перебраться через дамбу.

1965

ОТКАЗОМ ОТ СКОРБНОГО ПЕРЕЧНЯ...

Отказом от скорбного перечня — жест
большой широты в крохоборе! —
сжимая пространство до образа мест,
где я пресмыкался от боли,
как спившийся кравец в предсмертном бреду,
заплатой на барское платье
с изнанки твоих горизонтов кладу
на подвижность эту заклатье!

Проулки, предместья, задворки — любой
твой адрес — пустырь, палисадник, —
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей ни возвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,
будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне — на листе календарной.

И мертвым я буду существенней для
тебя, чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!
В тылу твоём каждый растоптанный знак
воспрянет, как петел лядящий.
И будут круги расширяться, как зрак —
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак — по требам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
как тень моя, в запуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчиться будет на каждой стене
в том доме, чья крыша — Россия.

Июнь, 1967 г.

ANNO DOMINI

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но всё-же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне:
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках...
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатие — сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натываясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

Январь, 1968 г., Паланга.

К ЛИКОМЕДУ, НА СКИРОС

Я покидаю город, как Тезей —
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!

Апофеоз подвижничества. Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навек уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И, дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных,
Бог отнимает всякую награду,
тайком от глаз ликующей толпы,
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он придти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущение униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
с центральных площадей
и башен.
А для странника — с окраин.

1967

ЭЛЕГИЯ

Подруга милая, кабак всё тот же.
всё та же дрянь красуется на стенах,
всё те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет, и хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,
как падший ангел, глушит водку. Скрипки
еще по старой памяти волнуют
мое воображение. В окне
маячат белые, как девство, крыши,
и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

1968

СТРОФЫ

I

На прощанье — ни звука.
Граммфон за стеной.
В этом мире разлука —
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти. И после
нам не вместе лежать.

II

Кто бы ни был виновен,
но, идя на правож,
воздаяния вровень
с невиновным не ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в Раю не сойдемся,
не столкнемся в Аду.

III

Как подзол раздирает
бороздою соха,
правога разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?

IV

Чем тесней единенье,
тем крошечней разрыв.
Не спасет затемненья
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твердости толка
больше нету. В чести
одаренность осколка,
жизнь сосуда вести.

V

Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только емкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.

VI

Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце «никогда».
Так скорбим, но хороним;
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.

VII

Распадаются дома,
обрывается нить.
Чем мы были и что мы
не смогли сохранить, —
промолчишь поневоле,
коль с течением дней
лишь подробности боли,
а не счастья видней.

VIII

Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидуя к славе,
не уступит любой
залетейской державе;
превзойдет голытьбой.

IX

Только то и тревожит,
что грядущий режим,
не испытан, не прожит,
но умом постижим.
И нехватка боязни
— невесомый балласт —
вознесенья от казни
обособить не даст.

Х

Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь
подголосок беды.
Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.

ХІ

И, чтоб гончим не выдал
— ни моим, ни твоим —
адрес мой храпоидол
или твой — херувим,
на прощанье — ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука
и при жизни саднит.

1968

СОНЕТ

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

...В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

1967

ЭНЕЙ И ДИДОНА

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.

Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.

А ее любовь
была лишь рыбой — может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его — но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.

Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащем между пламенем и дымом,
беззвучно распадался Карфаген
задолго до пророчества Катона.

1969

СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что — прежде, чем возник —
был треугольник перпендикуляром,
восстановленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.



ФОНТАН

САДОВНИК В ВАТНИКЕ

Садовник в ватнике, как дрозд,
по лестнице на ветку влез,
тем самым перекинув мост
к пернатым от двуногих здесь.

Но, вместо щебетанья, вдруг,
в лопатках возбуждая дрожь,
раздался характерный звук:
звук трения ножа о нож.

Вот в этом-то у певчих птиц
с двуногими и весь разрыв
(не меньший, чем в строеньи лиц)
что ножницы, как клюв раскрыв,

на дереве в разгар зимы,
скрипим, а не поем как раз.
Не слишком ли отстали мы
от тех, кто «отстает от нас»?

Помножив краткость бытия
на гнездышки и забытье
при пеньи, полагаю я,
мы место уточним свое.

18. I. 1964

0503

Скрип телег тем сильней,
чем больше вокруг теней.
Сильней, чем дальше они
от колючей стерни.
Из колеи в колею
дерут они глотку свою
тем громче, чем дальше луг,
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи
и желтых берез верхи
видят, уняв озноб,
как смотрит связанный сноп
в чистый небесный свод.
Опять коряга, и вот
деревья слышат не птиц,
а скрип деревянных спиц
и громкую брань возниц.

1964

С ГРУСТЬЮ И С НЕЖНОСТЬЮ

А. Горбунову

На ужин вновь была лапша, и ты,
Мицкевич, отодвинув миску,
сказал, что обойдешься без еды.
Поэтому и я без риску
медбрату показаться бунтарем,
последовал чуть позже за тобою
в уборную, где пробыл до отбоя.
«Февраль всегда идет за январем.
А дальше март». Обрывки разговора.
Сиянье кафеля, фарфора,
вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок
уоставив свой невидящий зрачок.
(А может — там судьба ему видна.)
Бабанов в коридор медбрата вызвал.
Я замер возле темного окна,
и за спиною грохал телевизор.
«Смотри-ка, Горбунов, какой — там хвост».
«А глаз какой». «А видишь там нарост,
над плавником?» «Похоже на нарыв».
Так в феврале мы, рты раскрыв,
тарасились в окно на звездных Рыб,
сдвигая лысоватые затылки,

в том месте, где мокрота на полу.
Где рыбу подают порой к столу,
но к рыбе не дают ножа и вилки.

1964

В РАСПУТИЦУ

Дорогу развезло,
как реку.
Я погрузил весло
в телегу,
спасательный овал
намаслив.
На всякий случай. Стал
запаслив.

Дорога, как река,
зараза.
Мережей рыбака
тень вяза.
Коню не до ухи
под носом.
Тем более, хи-хи,
колесам.

Не то, чтобы весна,
но вроде.
Разброд и кривизна.
В разброде
деревни — все подряд
хромая.
Лишь полный скуки взгляд —
прямая.

Орешники скребут
по борту.
Спасательный хомут —
на морду.
Над яблоней моей,
над серой,
восьмерка журавлей
на север.

Воззри сюда, о друи ·
потомок:
во всеоружьи дуг,
постромок,
и двадцати пяти
от роду,
пою на полпути
в природу:

1964

К СЕВЕРНОМУ КРАЮ

Северный край, укрой.
И поглубже. В лесу.
Как смолу под корой,
спрячь под веком слезу.
И оставь лишь зрачок,
словно хвойный пучок,
на грядущие дни.
И страну заслони.

Нет, не волнуйся зря:
я превращусь в глухаря,
и, как перья, на крылья мне лягут
листья календаря.
Или спрячусь, как лис,
от человеческих лиц,
от собачьего хора,
от двуствольных глазниц.

Спрячь и зажми мне рот!
Пусть при взгляде вперед
мне ничего не встретить,
кроме желтых болот.
В их купели сырой
от взоров нескромных скрой
след, если след оставлю,
и в трясину зарой.

Не мой черед умолкать.
Но пора окликать
тех, кто только не станет
облака упрекать
в красноте, в тесноте.
Пора брести в темноте,
вторя песней без слов
частоколу стволов.

Так шуми же себе
в судебной своей судьбе
над моей головою,
присужденной тебе,
но только рукой (плеча)
дай мне воды (ручья)
зачерпнуть, чтоб я понял,
что только жизнь — ничья.

Не перечь, не порочь.
Новых гроз не пророчь.
Оглянись, если сможешь —
так и уходят прочь:
идут сквозь толпу людей,
потом — вдоль рек и полей,
потом сквозь леса и горы,
всё быстрее, всё быстрее.

1964

В ДЕРЕВНЕ БОГ...

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит, выдает
девицу за лесничего и, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

1964

ДНИ БЕГУТ НАДО МНОЙ

Дни бегут надо мной,
словно тучи над лесом,
у него за спиной
сбиваясь стадом белесым.
И, застыв над ручьем,
без мычанья и звона,
налегают плечом
на ограду загона.

Горизонт на бугре
не проронит о бегстве ни слова.
И порой на заре
ни клочка от былого.

Предъявляя транзит,
только вечер вчерашний
торопливо скользит
над скворешней, над пашней.

1964

ДЕРЕВЬЯ В МОЕМ ОКНЕ...

М. Б.

Деревья в моем окне, в деревянном окне,
деревню после дождя вдвойне
окружают посредством луж
караулом усиленным мертвых душ.

Нет под ними земли, но — листва в небесах,
и свое отраженье в твоих глазах,
приготовившись мысленно к дележу,
я, как новый Чичиков, нахожу.

Мой перевернутый лес, воздавая вполне
должное мне, вовне шарит рукой на дне.

Лодка, плывущая посуху, подскакивает на волне.
В деревянном окне деревьев больше вдвойне.

1964

ТОПИЛАСЬ ПЕЧЬ...

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.
Древесные угли чуть-чуть искрились.
Но мысли о зиме, о всей зиме,
каким-то странным образом роились.
Какой печалью нужно обладать,
чтоб, вместо парка, что за три квартала,
пейзаж неясный долго вспоминать,
но знать, что больше нет его; не стало.
Да, понимать, что всё пришло к концу
тому назад едва ль не за два века,
— но мыслями блуждать в ночном лесу
и всё не слышать стука дровосека.
Стоят стволы, стоят кусты в ночи.
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.
Луна горит, как весь огонь в печи,
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

1964

ОРФЕЙ И АРТЕМИДА

Наступила зима. Песнопевец,
не сошедший с ума, не умолкший,
видит след на тропинке волчий

и, как дятел-краснодеревец,
забирается на сосну,
чтоб расширить свой кругозор,

разглядев получше узор,
оттеняющий белизну.

Россыпь следов снега
на холмах испещрила, будто
в постели красавицы утро
рассыпало жемчуга.

Среди полей и дорог
перепутались нити.
Не по плечу Артемиде
их собрать в бугорок.

В скобки берет зима
жизнь. Ветвей бахрома
взгляд за собой влечет.

Новый Орфей за счет
притаившихся тварей,

обрывая большой календарь,
сокращая словарь,
пополняет свой бестиарий.

1964

1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь,
поскольку больше дней, чем свеч
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймешь, что скупость — лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам —
чистосердечный дар.

1965

ВЕЧЕРОМ

Снег сено запылил
сквозь щели под потолком.
Я сено разворошил
и встретился с мотыльком.
Мотылек, мотылек.
От смерти себя сберег,
забравшись на сеновал.
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,
как «летучая мышь» чадит,
как ярко освещена
бревенчатая стена.
Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчетливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы
мы тут совсем одни.
И пальцы мои теплы,
как июньские дни.

1965

ПОДСВЕЧНИК

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир — не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись всё это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
«Не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.

1968

ИЗ «ШКОЛЬНОЙ АНТОЛОГИИ»

1. Э. Ларионова

Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь
полковника и машинистки. Взглядом
напоминала взгляд на циферблат.
Она стремилась каждому помочь.
Однажды мы лежали рядом
на пляже и крошили шоколад.
Она сказала, поглядев вперед —
туда, где яхты не меняли галса —
что если я хочу, то я могу.
Она любила целоваться. Рот
напоминал мне о пещерах Карса.
Но я не испугался.

Берегу

вспоминанье это, как трофей,
уж на каком-то непонятном фронте
отбитый у неведомых врагов.
Любитель сдобных баб, запечный котофей,
Д. Куликов возник на горизонте,
на ней женился Дима Куликов.
Она пошла работать в женский хор,
а он трубит на номерном заводе.
Он — этакий костистый инженер....
А я всё помню длинный коридор
и нашу свалку с нею на комодке.
И Дима — некрасивый пионер.
Куда всё делось? Где ориентир?
И как сегодня обнаружить то, чем
их ипостаси преображены?
В ее глазах таился странный мир,
еще самой ей непонятный. Впрочем,
не понятый и в качестве жены.

*Этот цикл стихотворений писался с 1966 г. по 1969 г. и еще не
завершен.*

Жив Куликов. Я жив. Она — жива.
А этот мир — куда он подевался?
А может, он их будит по ночам?....
И я всё бормочу свои слова.
Из-за стены несутся ключья вальса.
И дождь шумит по битым кирпичам.

2. Олег Поддобрый

Олег Поддобрый. У него отец
был тренером по фехтованью. Твердо
он знал всё это: выпады, укол.
Он не был пожирателем сердец.
Но, как это бывает в мире спорта,
он из офсайда забивал свой гол.
Офсайд был ночью. Мать была больна,
и младший брат вопил из колыбели.
Олег вооружился топором.
Вошел отец, и началась война.
Но вовремя соседи подоспели
и сына одолели вчетвером.
Я помню его руки и лицо,
потом — рапиру с ручкой деревянной.
Мы фехтовали в кухне иногда.
Он раздобыл поддельное кольцо,
плескался в нашей коммунальной ванной...
Мы бросили с ним школу, и тогда
он поступил на курсы поваров,
а я — фрезеровал на «Арсенале».
Он пек блины в Таврическом саду.
Мы развлекались переноской дров
и продавали елки на вокзале
под Новый Год. Потом он, на беду,
в компании с какой-то шантрапой
взял магазин и получил три года.
Он жарил свою пайку на костре.
Освободился. Пережил запой.
Работал на строительстве завода.
Был, кажется, женат на медсестре.

Стал рисовать. И будто бы хотел
учиться на художника. Местами
его пейзажи походили на —
на натюрморт. Потом он залетел
за фокусы с больничными листами.
И вот теперь — настала тишина.
Я много лет его не вижу. Сам
сидел в тюрьме, но там его не встретил.
Теперь я на свободе. Но и тут
нигде его не вижу.

По лесам
он где-то бродит и вдыхает ветер.
Ни кухня, ни тюрьма, ни институт
не приняли его. И он — исчез.
Как Дед Мороз, успев переодеться.
Надеюсь, что он жив и невредим.
И вот он возбуждает интерес,
как остальные персонажи детства.
Но больше, чем они, невозвратим.

3. Т. Зимина

Т. Зимина; прелестное дитя.
Мать — инженер, а батюшка — учетчик.
Я, впрочем, их не видел никогда.
Была невпечатлительна. Хотя
на ней женился пограничный летчик.
Но это было после. А беда
с ней раньше приключилась. У нее
был родственник. Какой-то из райкома.
С машиною. А предки жили врозь.
У них там было, видимо, свое.
Машина — это было незнакомо.
Ну, с этого там всё и началось.

Она переживала. Но потом
дела пошли как будто на поправку.
Вдали маячил сумрачный грузин.
Но вдруг он угодил в казенный дом.
Она же — отдала себя прилавку
в большой галантерейный магазин.
Белье, одеколоны, полотно
— ей нравилась вся эта атмосфера,
секреты и поклонники подруг.
Прохожие таращатся в окно.
Вдали — Дом Офицеров. Офицеры,
как птицы, с массой пуговиц, вокруг.

Тот летчик, возвратившись из небес,
приветствовал ее за миловидность.
Он сделал из шампанского салют.
Замужество. Однако, в ВВС
ужасно уважается невинность,
возводится в какой-то абсолют.
И этот род схоластики виной
тому, что она чуть не утопилась.
Нашла уж мост, но грянула зима.
Канал покрылся коркой ледяной.
И вновь она к прилавку торопилась.
Ресницы опушила бахрома.
На пепельные волосы струит
сияние неоновая люстра.
Весна — и у распахнутых дверей
поток из покупателей бурлит.
Она стоит и в сумрачное русло
глядит из-за белья, как Лорелей.

4. Ю. Сандул

Ю. Сандул. Добродушие хорька.
Мордашка, заострявшаяся к носу.
Наушничал. Всегда — воротничок.
Испытывал восторг от козырька.
Витийствовал в уборной по вопросу,
прикалывать ли к кителю значок.
Прикалывал. Испытывал восторг
вообще от всяких символов и знаков.
Чтил титулы и звания, до слез.
Любил именовать себя «физорг».
Но был старообразен, как Иаков,
считал своим бичом фурункулез.
Подвержен был воздействию простуд,
отсиживался дома в непогоду.
Драчил таблицы Брадиса. Тоска.
Знал химию и рвался в институт.
Но после школы загремел в пехоту,
в секретные подземные войска.

Теперь он что-то сверлит. Говорят,
на «Дизеле». Возможно и неточно.
Но точность тут, пожалуй, никчему.
Конечно, специальность и разряд.
Но, главное, он учится заочно.
И здесь мы приподнимем бахрому,
Он в сумерках листает «Сопромат»
и впитывает Маркса. Между прочим,
такие книги вечером как раз
особый источают аромат.
Не хочется считать себя рабочим.
Охота, в общем, в следующий класс.

Он в сумерках стремится к рубежам
иным. Сопrotивление металла
в теории приятнее. О да!
Он рвется в инженеры, к чертежам.
Он станет им, во что бы то ни стало.
Ну, как это... количество труда,
прибавочная стоимость... прогресс...
И вся эта схоластика о рынке...
Он лезет сквозь дремучие леса.
Женился бы. Но времени в обрез.
И он предпочитает вечеринки,
случайные знакомства, адреса.

«Наш будущий — улыбка — инженер».
Он вспоминает сумрачную массу
и смотрит мимо девушек в окно.
Он одинок на собственный манер.
Он изменяет собственному классу.
Быть может, перебарщиваю. Но
использование класса напрокат
опаснее мужского вероломства.
— Грех молодости. Кровь, мол, горяча. —
Я помню даже искренний плакат
по поводу случайного знакомства.
Но нет ни диспансера, ни врача
от этих деклассированных, чтоб
себя предохранить от воспаленья.
А если нам эпоха не жена,
то чтоб не передать такой микроб
из этого — в другое поколение.
Такая эстафета не нужна.

5. А. Фролов

Альберт Фролов, любитель тишины.
Мать штемпелем стучала по конвертам
на почте. Что касается отца,
он пал за независимость чухны,
успев продлить фамилию Альбертом,
но не выдав альбертова лица.

Сын гений свой воспитывал в тиши.
Я помню эту шишку на макушке:
он сполз на зоологии под стол,
не выяснив отсутствия души
в совместно распатроненной лягушке.
Что позже обеспечило простор

полету его мыслей, каковым
он предавался вплоть до института,
где он вступил с архангелом в борьбу.
И вот, как согрешивший херувим,
он пал на землю с облака. И тут-то
он обнаружил под рукой трубу.

Звук — форма продолженья тишины,
подобье развивающейся ленты.
Солируя, он скашивал зрочки
на раструб, где мерцали, зажжены
софитами, — пока аплодисменты
их там не задували — светлячки.

Но то бывало вечером, а днем —
днем звезд не видно. Даже из колодца.
Жена ушла, не выстирав носки.
Старуха-мать заботилась о нем.
Он начал пить, впоследствии — колоться
черт знает чем. Наверное, с тоски,

с отчаянья — но дьявол разберет.
Я в этом, к сожалению, не сведущ.
Есть и другая, кажется, шкала:
когда играешь, видишь наперед
на восемь тактов — ампулы ж, как светоч
шестнадцать озаряли... Зеркала

дворцов культуры, где его состав
играл, вбирали хмуро и учтиво
черты, экземой траченные. Но
потом, перевоспитывать устав
его за разложение коллектива,
уволили. И, выдавив: «говно!»

он, словно затухающее «ля»,
не сделав из дальнейшего маршрута
досужих достояния очес,
как строчка, что влезает на поля,
вернее — доводя до абсолюта
идею увольнения, исчез.

Второго января, в глухую ночь,
мой теплоход ошвартовался в Сочи.
Хотелось пить. Я двинул наугад
по переулкам, уводившим прочь
от порта к центру, и в разгаре ночи
набрел на ресторацию «Каскад».

Шел Новый Год. Поддельная хвоя
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился
грузинский сброд, поющий «Тбилисо».
Везде есть жизнь, и тут была своя.
Услышав соло, я насторожился
и поднял над бутылками лицо.

«Каскад» был полон. Чудом отыскав
проход к эстраде, в хаосе из лязга
и запахов я сгорбленной спине
сказал: «Альберт» и тронул за рукав;
и страшная, чудовищная маска
оборотилась медленно ко мне.

Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие. Лишь слипшиеся пряди, нетронутые струпьями, и взгляд принадлежали школьнику, в мои как я в его косившему тетради уже двенадцать лет тому назад.

«Как ты здесь оказался в несезон?»
Сухая кожа, сморщенная в виде коры. Зрачки — как белки из дупла.
«А сам ты как?» «Я, видишь ли, Язон.
Язон, застрявший на зиму в Колхиде.
Моя экзема требует тепла...»

Потом мы вышли. Редкие огни, небес предотвращавшие с бульваром слияние. Квартальный — осетин.
И даже здесь держащийся в тени мой провожатый, человек с футляром
«Ты здесь один?» «Да, думаю, один».

Язон? Наверяд ли. Иов, небеса ни в чем не упрекающий, а просто сливающийся с ночью на живот и смерть... Береговая полоса, и острый запах водорослей с Оста, незримой пальмы шорохи — и вот

всё вдруг качнулось. И тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале.
И звук поплыл, вплетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме.

И я услышал, полную печали,
«Высокую-высокую луну».

СУМЕВ ОТГОРОДИТЬСЯ...

Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я озираю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке.
Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро — как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди,
 что из озерных дыр
да и вообще — через любую лужу
сюда ползет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.

1966

1 СЕНТЯБРЯ

День назывался «первым сентября».
Детишки шли, поскольку — осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,
как ногтем — шоколадную фольгу,
разгладили улан.

Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.

Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с гроыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ

*«Скучен вам, стихи мои, ящик...»
Кантемир.*

Не хотите спать в столе. Прытко
возражаете: «Быв здраву,
корчиться в земле суть пытка».
Отпускаю вас. А что ж? Праву
на свободу возражать — грех. Мне же
хватит и других — здесь, мыслю,
не стихов: грехов. Всё реже
сочиняю вас. Да вот, кислу
мину позабыл аж даве
сделать на вопрос: «Как вирши?
Прибавляете лучей к славе?»
Прибавляю, говорю. Вы же
оставляете меня. Что ж! Дай вам
Бог того, что мне ждать поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы — к людям,
я — туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.
Не боюсь за вас; есть средство
вам перенести путь долгий:
милые стихи, в вас сердце
я свое вложил. Коль в Лету
канет, то скорбеть мне перву.
Но из двух оправ — я эту
смело предпочел сему перлу.
Вы и краше и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум, что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за всё то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне. Вы — в тыщу.

1967

ФОНТАН

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.

Пересохла уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в куцах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней

выбегает к фонтану, как львы из чащи.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,
лижут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,
тем темней

грозный облик. И вот
наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И всё общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво
назовет

похищенье вождя —
так как первые капли блестят на скамейке —
назовет похищенье вождя приближеньем дождя.
Дождь спускает на землю косые линейки,
строя в воздухе сеть или клетку для львиной семейки
без узла и гвоздя.

Теплый
дождь
моросит.

Но, как льву, им гортань
не остудишь.

Ты не будешь любим и забыт не будешь.
И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.

Разгласит
твой побег
дождь и снег.

И, не склонный к простуде,
всё равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди
и голубки — в ковчег.

1967

НА ПРАЧЕЧНОМ МОСТУ...

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться,
— сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
тарашится, забыв о поплавке,
на зыбкое свое изображение.

Река его то молодит, то старит.
То проступают юные черты,
то набегают на чело морщины.
Он занял наше место. Что ж, он прав!
С недавних пор всё то, что одиноко,
символизирует другое время;
а это — ордер на пространство.

Пусть

он смотрится спокойно в наши воды
и даже узнает себя. Ему
река теперь принадлежит по праву,
как дом, в который зеркало внесли,
но жить не стали.

1968

ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

В былые дни и я переживал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это — Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.

Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившисья груши,
как мужеские признаки, висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников-скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Осенью, 1968 г.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;
я жмурюсь — и тогда он произносит,
глотаю дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состояньи удержаться снег
на лезвиях и остриях атавы.
Пустуют рестораны. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.
Снежинки проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

Январь, 1969 г.

СТИХИ В АПРЕЛЕ

В эту зиму с ума
я опять не сошел. А зима,
глядь, и кончилась. Шум ледохода
и зеленый покров
различаю. И, значит, здоров.
С новым временем года
поздравляю себя
и, зрачок о Фонтанку слепя,
я дроблю себя на сто.
Пятерней по лицу
провожу. И в мозгу, как в лесу,
оседание наста.

Дотянув до седин
я смотрю, как буксир среди льдин
пробирается к устью.

Не ниже

поминания зла
превращенье бумаги в козла
отпущенья обид.

Извини же

за возвышенный слог:
не кончается время тревог,
но кончаются зимы.
В этом — суть перемен,
в толчее, в перебранке Камен
на пиру Мнемозины.

Апрель, 1969 г.

IV

ПОЭМЫ

СТИХИ НА СМЕРТЬ Т. С. ЭЛИОТА

I

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске.
Она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накапливать сердца.

На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны — торопливо
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьется
о край земли. В избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.

II

Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
Две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы — и нельзя сказать, что девы:
не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота. Но прическа — Евы...

Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и,
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.

Но каждая могила — край земли.

III

Аполлон, сними венки.
Положи его у ног
Элиота, как предел
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.

Будет помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый знак,
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стернс, не бойся коз!
Безопасен сенокос.
Память — если не гранит —
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь.
Навсегда. В чужую ночь.
Прерывая крик, слова.
Став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим. Но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит!

Будет помнить лес и луг.
Будет помнить всё вокруг.
Словно тело — мир не пуст! —
помнит ласку рук и уст.

12. I. 1965

ОДНОЙ ПОЭТЕССЕ

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом.
Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.
К тому ж, вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
что, зараженный классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато начало многолетней тяжбе.
Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.
Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошел я на нее. Не так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.
И я для вас не шевельну рукой

Оставим счета. Я давно в неволе.
Картофель ем и сплю на сеновале.
Могу прибавить, что теперь на воре
уже не шапка — лысина горит.
Я, эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали.
Когда мне вышли от закона «вилы»,
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.
Зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет
и несомненна близость Божества.
Один певец подготавливает рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам лишь рупор.
И он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму.
Хоть я и мог, как мистик в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обзревает ближних —
в конечном счете, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряжи
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе.
Всегда в ее дикорастущем виде.
И удивляюсь, и грущу, мадам.

1965

EINEM ALTEN ARCHITEKTEN IN ROM

I

В коляску — если только тень
действительно способна сесть в коляску
(особенно в такой дождливый день),
и если призрак переносит тряску,
и если лошадь упряжи не рвет —
в коляску, под зонтом, без верха,
мы молча взгромоздимся и вперед
покатим по кварталам Кёнигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.
Дразня язык, бормочет речка смутно,
чьи рыбки, навсегда оглушены,
с перил моста взирают вниз, как будто
заброшены сюда взрывной волной
(хоть сам прилив не оставлял отметки).
Блестит кольчугой голавель стальной.
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейсс.
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.
Ужель и он не слышит сзади звона?
Трамвай бежит в свой миллионный рейс.
Трезвонит громко и, в момент обгона,
перекрывает звонкий стук подков.
И, наклонясь — как в зеркало — с холмов
развалины глядят в окно вагона.

IV

Трепещут робко лепестки травы.
Аканты, нимбы, голубки, голубки,
атланты, нимфы, купидоны, львы
смущенно прячут за спиной обрубки.
Не пожелал бы сам Нарцисс иной
зеркальной глади за бегущей рамой,
где пассажиры собрались стеной,
рискнувши стать на время амальгамой.

V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.
И юный археолог черепки
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.
Дождь моросит. Не разжимая уст,
среди равнин, припорошенных щебнем,
среди больших руин на скромный бюст
Суворова ты смотришь со смущеньем.

VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.
С порталов март смывает хлопья сажки.
То тут, то там торчат хвосты шутих.
Стоят, навек окаменев, плюмажи.
И если здесь поковырять — по мне,
разбитый дом, как сеновал в иголках,
то можно счастье отыскать вполне
под четвертичной пеленой осколков.

VII

Клен выпускает первый клейкий лист.
В соборе слышен пилорамы свист.
И кашляют грачи в пустынном парке.
Скамейки мокнут. И во все глаза
из-за ограды смотрит вдаль коза,
где зелень распустилась на фольварке.

VIII

Весна глядит сквозь окна на себя.
И узнает себя, конечно, сразу.
И зреньем наделяет тут судьба
всё то, что недоступно глазу.
И жизнь бушует с двух сторон стены,
лишенная лица и черт гранита.
Глядит вперед, поскольку нет спины...
Хотя теней — в кустах битком набито.

IX

Но если ты не призрак, если ты
живая плоть, возьми урок с природы.
И, срисовав такой пейзаж в листы,
своей душе ищи другой структуры!
Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,
разбитый в прах — и кем? — винтом крылатым,
на первый раз придав ей тот же вид,
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

X

И пусть теперь меж чувств твоих провал
начнет зиять. И пусть за грустью томной
бушует страх и, скажем, злобный вал.
Спасти сердца и стены в век атомный
когда скала — и та дрожит, как жердь,
возможно нам, скрепив их той же силой
и связью той, какой грозит им смерть;
чтоб вздрогнул я, расслышав слово: «милый».

XI

Сравни с собой или примерь на глаз
любовь и страсть и — через боль — истому.
Так астронавт, пока летит на Марс,
захочет ближе оказаться к дому.
Но ласка та, что далека от рук,
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,
проворней уст: ведь небосвод разлук
несокрушимей потолков убежищ!

XII

Чик, чик, чирик. Чик-чик. — Посмотришь вверх.
И в силу грусти, а верней — привычки,
увидишь в тонких прутьях Кёнигсберг.
А почему б не называться птичке
Кавказом, Римом, Кёнигсбергом, а?
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень,
предметов нет, а только есть слова.
Но нету уст. И раздаётся щебет.

XIII

И ты простишь нескладность слов моих.
Сейчас от них — один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, *Ich liebe dich*.
И, может быть, опередит: *Ich sterbe*.
Блокнот и Цейсс в большую сумку спрячь.
Сухой спиной повертись к флюгарке
и зонт сложи, как будто крылья — грач
И только ручка выдаст хвост пулярки.

XIV

Постромки в клочья... Лошадь где?... Подков
не слышен стук... Петляя там, в руинах,
коляска катит меж пустых холмов...
Съезжает с них куда-то вниз... Две длинных
шлеи за ней... И вот — в песке следы
больших колес... Шуршат кусты в засаде...

И море, гребни чьи несут черты
того пейзажа, что остался сзади,
бежит навстречу и, как будто весть,
благую весть — сюда, к земной границе, —
влечет валы. И это сходство здесь
уничтожает в них, лаская спицы.

1964

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

То, куда вытянут нос и рот,
прочий куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть «вперед»;
всё остальное считай «назад».
Но так как нос корабля на Норд,
а взор пассажир устремил на Вест
(иными словами, глядит за борт),
сложность растёт с переменной мест.
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики «вектор» изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.

Левиафаны лупят хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указывает на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,
под балдахином, и в полный рост,
с цезием в пятке (верней, в сопле)
пинает носком покрывало звезд.
А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и иод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.

Двуликий Янус, твое лицо —
к жизни одно и к смерти одно —
мир превращают почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упрешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда — предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.

Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
вдруг оказался весьма глубок.
Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
задрал к небосводу свой левый борт,
как некогда сам «Генерал-Адмирал
Апраксин». Но чем-то иным затерт.

Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз «воронье гнездо»,
забив до весны почтовый рожок;
и вместо «ля» раздается «до».

Таает корма, но сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят, и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших миллиарды волн.

На азбуке Морзе своих зубов
я к вам взываю, профессор Попов,
и к вам, господин Маркони, в КОМ
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам,
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: «карр».
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепчет, как верный страж,
когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море — трехмачтовик, давший течь.
(И может сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и пулю чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)

Пропорот бок, и залив глубок.
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью — смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие — стигмат.

Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:
то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейсс
Я вижу, что я проиграл процесс
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель бороды густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время — волна, а Пространство — кит.

Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Марриот,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, —
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костями
макак, отношенья мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май — персонажи сна.

Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.
Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть — это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точнее:
когда я проснусь, и когда скучней
на первых порах мне придется т а м,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь
признак того, что хочу сбересть
тени; того, что еще люблю.
Признак того, что я крепко сплю.

Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать;
вернувшись на палубу, так сказать,
я вижу, собственно, только нос
и снег, что ундине уста занес
и нежный бюст превратил в сугроб.
Сейчас мы исчезнем, пловучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?

Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал «заря»,
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая худеющий календарь.
Хотелось бы думать, верней — мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто — из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),
что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: «мир иной».

Постыдная слабость! Момент, друзья,
по крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
то, чего я лицезреть не смог.
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог — обряд,
и добродетелей неких ряд,
которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хоть я не уверен в том, что вы — есть).
Надеюсь я также, что некий Швед
спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что блюда украсят сервиз небес.

Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.
Больше ему уж не зваться злым.
Пускай Грядущее здесь грустит:
как ни вертись, но не стать Былым.
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток.
А в Веймаре пусть Фейербах ревет:
«Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!»
Возможно, так. А возможно, нет.
Во всяком случае (ветер стих),
как только Старушка погасит свет,
я знаю точно: не станет их.
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле
улитку, в охотничий рог трубить,
когда на скромном своем корабле
я, как сказал перед смертью Рабле,
отправлюсь в «Великое Может Быть»...

(размыто)

Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.
Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.

Я вижу бульвар, где полно собак.
Скамейка стоит, и цветет табак.
Я вижу фиалок пучок в петле
и Вас я вижу, мадам, в букле.

Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шляпки, их четкий рант.
На каждой, как маленький кливер, бант.

А выше (о звуки небесных арф)
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.

И брови, как крылья прелестных птиц,
над взором, которому нет границ
в мире огромном ни вспять, ни впредь,
который Незримому дал Смотреть.

Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь), заметить рад:
у Вас она лишена преград.

Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.

Но Ваше сердце, точнее — взор
(как тонкие пальцы — предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.

(размыто)

И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.

Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.
До марки добравшись — и наизусть
запомнив — придете в себя вполне.
И встреча со мною Вас ждет на дне!

Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,
Bottoms up! — как сказал бы Флинн.
Тем паче, что мир, как в «Пиратах», здесь
в зеленом стекле отразился весь.

(размыто)

Так вспоминайте ж меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов
в беге строк и в гуденьи слов....

Море, мадам, это чья-то речь...
Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн...

(размыто)

Меня вспоминайте при виде волн!

(размыто)

Что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу...
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.

(размыто)

Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
«Я думал, ты не придешь. *Alas!*»

1965

НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ

М. Б.

1

Во вторник начался сентябрь.
Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь.
Лишь я так одинок и храбр,
что даже не смотрел им вслед.
Пустынный небосвод разрушен.
Дождь стягивает просвет.
Мне юг не нужен.

2

Тут, захороненный живьем,
я в сумерках брожу жнивьем.
Сапог мой разрывает поле
(бушует надо мной четверг),
но срезанные стебли лезут вверх,
почти не ощущая боли.
А прутья верб,
вонзая розоватый мыс
в болото, где снята охрана,
бормочут, опрокидывая вниз
гнездо жулана.

3

Стучи и хлюпай, пузырьрись, шурши.
Я шаг свой не убыстрю.
Известную тебе лишь искру
гаси, туши.
Замерзшую ладонь прижав к бедру,
бреду я от бугра к бугру,
без памяти, с одним каким-то звуком,
подошвой по камням стучу.
Склоняясь к темному ручью,
гляжу с испугом.

4

Что ж, пусть легла бессмысленности тень
в моих глазах, и пусть впиталась сырость
мне в бороду, и кепка — набекрень —
венчая этот сумрак, отразилась,
как та черта, которую душе
не перейти —
я не стремлюсь уже
за козырек, за пуговку, за ворот,
за свой сапог, за свой рукав.
Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,
что где-то я пропорот. Холод
трясет его, мне в грудь попав.

5

Бормочет предо мной вода,
и тянется мороз в прореху рта.
Иначе и не вымолвить: чем может
быть не лицо, а место, где обрыв
произошел.
И смех мой крив
и сумрачную гать тревожит.
И крошит темноту дождя порыв.
И образ мой второй, как человек,
бежит от красноватых век,
подскакивает на волне
под соснами, потом под ивняками,
мешается с другими двойниками,
как никогда не затеряться мне.

6

Стучи и хлюпай. Жуи подгнивший мост.
Пусть хляби, окружив погост,
высасывают краску крестовины.
Но даже этак кончиком травы
болоту не прибавить синевы...
Топчи овины,
бушуй среди густой еще листвы.
Вторгайся по корням в глубины
и там, в земле, как здесь, в моей груди
всех призраков и мертвецов буди.
И пусть они бегут, срезая угол,
по жниву к опустевшим деревьям
и машут налетевшим дням,
как шляпы пугал.

7

Здесь на холмах, среди пустых небес,
среди дорог, ведущих только в лес,
жизнь отступает от самой себя
и смотрит с изумлением на формы,
шумящие вокруг. И корни
вцепляются в сапог, сопя,
и гаснут все огни в селе.
И вот бреду я по ничьей земле
и у Небытия прошу аренду.
И ветер рвет из рук моих тепло,
и плещет надо мной водой дупло,
и скручивает грязь тропинки ленту.

Да здесь как будто вправду нет меня.
 Я где-то в стороне, за бортом.
 Топорщится и лезет вверх стерня,
 как волосы на теле мертвом,
 и над гнездом, в траве простертом,
 вскипает муравьев возня.
 Природа расправляется с былым,
 как водится. Но лик ее при этом
 пусть залитый закатным светом
 невольно делается злым.
 И всею пятернею чувств — пятью
 отталкиваю я от леса:
 нет, Господи! в глазах завеса
 и я не превращусь в судью.
 И если — на беду свою —
 я всё-таки с собой не слажу,
 Ты, Боже, отруби ладонь мою,
 как финн за кражу.

Друг Полидевк. Тут всё слилось в пятно.
 Из уст моих не вырвется стенанье.
 Вот я стою в распахнутом пальто
 и мир течет в глаза сквозь решето,
 сквозь решето непониманья.
 Я глуховат. Я, Боже, слеповат.
 Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
 горит луна. Пусть так. По небесам
 я курс не проложу меж звезд и капель
 Пусть эхо тут разносит по лесам
 не песнь, а кашель.

Сентябрь. Ночь. Всё общество — свеча.
 Но тень еще глядит из-за плеча
 в мои листы и роется в корнях
 оборванных. И призрак твой в сених
 шуршит и булькает водою
 и улыбается звездой
 в распахнутых рывком дверях.

Темнеет надо мною свет.
 Вода затягивает след.
 Да, сердце рвется всё сильнее к тебе,
 и оттого оно — всё дальше.
 И в голосе моем всё больше фальши.
 Но ты ее сочти за долг судьбе,
 за долг судьбе, не требующей крови
 и ранящей иглой тупой.
 А если ты улыбку ждешь — постой!
 Я улыбнусь. Улыбка над собой
 могильной долговечней кровли
 и легче дыма над печной трубой.

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?
 И что здесь подо мной: вода, трава,
 отросток лиры вересковой,
 изогнутый такой подковой,
 что счастье чудится,
 такой, что, может быть,
 как перейти на иноходь с галопа
 так быстро и дыхание не сбить,
 не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

1964

ДВА ЧАСА В РЕЗЕРВУАРЕ

Мне скушно, бес...

А. С. Пушкин.

I

Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

II

Не подчиняясь польской пропаганде,
он в Кракове грустил о Фатерланде,
мечтал о философском диаманте
и сомневался в собственном таланте.
Он поднимал платочки женщин с пола.
Он горячился по вопросам пола.
Играл в команде факультета в поло.

Он изучал картежный катехизис
и познавал картезианства сладость.
Потом полез в артезианский кладезь
эгоцентризма. Боевая хитрость,
которой отличался Клаузевиц,
была ему, должно быть, незнакома,
поскольку фатер был краснодеревец.

Цумбайшпиль, бушевала глаукома,
чума, холера унд туберкулёзен.
Он защищался шварце папиросен.
Его влекли цыгане или мавры.
Потом он был помазан в бакалавры.
Потом снискал лиценциата лавры
и пел студентам: «Кембрий... динозавры...»

Немецкий человек, немецкий ум.
Тем более, когито эрго сум.
Германия, конечно, юбер аллес.
(В ушах звучит знакомый венский вальс.)
Он с Краковым простился без надрыва
и покатил на дрожках торопливо
за кафедрой и честной кружкой пива.

Сверкает в тучах месяц-молодчина.
 Огромный фолиант. Над ним — мужчина.
 Чернеет меж густых бровей морщина.
 В глазах — арабских кружев чертовщина.
 В руке дрожит кордовский черный грифель.
 В углу — его рассматривает в профиль
 арабский представитель Меф-ибн-Стофель.

Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом.
 «Герр доктор, полночь». «Яволь, шлафен, шлафен...»
 Две черных пасти произносят: «мяу».
 Неслышно с кухни входит идиш фрау.
 В руках ее шипит омлет со шпеком.
 Герр доктор чертит адрес на конверте:
 «Готт штрафе Ингланд, Лондон, Франсис Бэкон».

Приходят и уходят мысли, черти.
 Приходят и уходят гости, годы...
 Потом не вспомнить платья, слов, погоды.
 Так проходили годы шито-крыто.
 Он знал арабский, но не знал санскрита.
 И с опозданием, гей, была открыта
 им айне кляйне фройляйн Маргарита.

Тогда он написал в Каир депешу,
 в которой отказал он черту душу.
 Приехал Меф, и он переоделся.
 Он в зеркало взглянул и убедился,
 что навсегда теперь переродился.
 Он взял букет и в будуар девицы
 отправился. Унд вени, види, вици.

IV

Их либе ясность. Я. Их либе точность.
Их бин просить не видеть здесь порочность.
Ви намекайт, что он любил цветочниц?
Их понимайт, что дас ист ганце срочность.
Но эта сделка махт дер гроссе минус.
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:
душа и сердце найн гехапт на вынос.

От человека, аллес, ждате напрасно:
«остановись, мгновенье, ты прекрасно».
Меж нами дьявол бродит ежечасно
и поминутно этой фразы ждет.
Однако, человек, майн либе геррен,
настолько в сильных чувствах неуверен,
что поминутно лжет, как сивый мерин,
но, словно Гёте, маху не дает.

Унд гроссер дихтер Гёте дал описку,
чем весь сюжет подверг а ганце риску.
И Томас Манн сгубил свою подписку,
а шер Гуно смутил свою артистку.
Искусство есть искусство есть искусство...
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.
Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти.
Он точно знал, откуда взялись черти.
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.
Он мог дас вассер осушить в колене.
И возраст мог он указать в полене.
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст ниц не знал о Боге.

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
 Есть разница меж них. И есть единство.
 Одним вредит, других спасает плоть.
 Неверье — слепота. А чаще — свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх
 Однако, интерес у всех различен.
 Бог органичен. Да. А человек?
 А человек, должно быть, ограничен.

У человека есть свой потолок,
 держащийся вообще не слишком твердо.
 Но в сердце льстец отыщет уголок,
 и жизнь уже видна не дальше черта.

Таков был доктор Фауст. Таковы
 Марло и Гёте, Томас Манн и масса
 певцов, интеллигентов унд, увы,
 читателей в среде другого класса.

Один поток сметает их следы,
 их колбы — доннерветтер! — мысли, узы...
 И дай им Бог успеть спросить: «куда?!»
 И услышать, что вслед им крикнут Музы.

А честный немец сам дер вег цурюк,
 не станет ждать, когда его попросят.
 Он вальтер достает из теплых брюк
 и навсегда уходит в вальтер-клозет.

VI

Фройляйн, скажите, вас ист дас «инкубус»?
Инкубус дас ист айне кляйне глобус.
Нох гроссер дихтер Гёте задал ребус!
Унд ивиковы злые журавли,
из веймарского выпорхнув тумана,
ключ выхватили прямо из кармана.
И не спасла нас зоркость Эккермана.
И мы теперь, матрозен, на мели.

Есть истинно духовные задачи.
А мистика есть признак неудачи
в попытке с ними справиться. Иначе
их бин не стоит это толковать.
Цумбайшпиль, потолок — преддверье крыши.
Поэмой больше, человеком-ницше.
Я вспоминаю Богоматерь в нише,
обильный фриштик, поданный в кровать.

Опять Зептембер. Скука. Полнолуние.
В ногах мурлычит серая колдунья.
А под подушку положил колун я...
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт!
Яволь. Зептембер. Портится характер.
Буксует в поле тарахтящий трактор.
Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».
Гут нахт, майн либе геррен. Я, гут нахт.

1965

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это — храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Всё началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре — заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою — разрушитель.

К тому же, экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом — туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я — сквозь эти дыры в алтаре —
смотрел на убежавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее — после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным -давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам — садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: «собачья верность».
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханное поле заросло.
«Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься».
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

1966

ПРОЩАЙТЕ, МАДМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА

I

Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
станутся роскошью малых наций —
после множества комбинаций.
Марс перемещается ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону пальцем
даже в ее апогей, в июле —
словом, если я не умру от пули,
если умру в постели, в пижаме,
ибо принадлежу к великой державе,

II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,
не сумев отovarить лавровый отблеск,
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь
бросить свое семейство — через
двадцать лет, окружен опекой
по причине безумия, в дом с аптекой
я приду пешком, если хватит силы,
за единственным, что о тебе в России
мне напомнит. Хоть против правил
возвращаться за тем, что другой оставил.

III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.
Через двадцать лет я приду за креслом,
на котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова тела
завершались распятыя муки —
в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.

IV

Данная поза, при всей приязни,
это лучшая гемма для нашей жизни.
И она отнюдь не недвижность. Это —
апофеоз в нас самих предмета.
Замена смиренья простым покоем.
То-есть, новый вид Христианства, коим
долг дорожить и стоять на страже
тех, кто, должно быть, способен даже
когда придет Гавриил с трубою,
мертвый предмет продолжать собою!

V

У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
я не более зряч, чем назонов Калхас.
Потому — прорицать все равно, что кактус
или львиный зев подносить к забралу.
Всё равно, что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
на тебя похожих наощупь в мире,
что называется, кот наплакал.
Каковы твои жертвы, таков оракул.

VI

Ты, несомненно, простишь мне этот гаерский тон. Это — лучший метод сильные чувства спасти от массы слабых. Греческий принцип маски снова в ходу. Ибо в наше время сильные гибнут. Тогда как племя слабых плодится, и врозь, и оптом. Прими же сегодня, как мой постскрипtum к теории Дарвина, столь пожухлой, эту новую правду джунглей.

VII

Через двадцать лет — ибо легче вспомнить то, что отсутствует, чем восполнить это чем-то иным снаружи. Ибо отсутствие права хуже, чем твое отсутствие — новый Гоголь, насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь, без оглядки вспять, без былой опаски, — как волшебный фонарь Христовой Пасхи оживляет под звуки воды из крана спинку кресла пустого, как холст экрана.

VIII

В нашем прошлом величье, в грядущем — проза. Ибо с кресла пустого не больше спроса, чем с тебя, в нем сидевшей ЛаГарды тише, руки сложив, как писал я выше. Впрочем, в сумме своей наших дней объятья много меньше раскинутых рук распятыя. Так что эта находка певца хромого сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого, предо мной маячит подобьем вето на прыжки в девяностые годы века.

IX

Если меня не спасет та птичка,
то-есть, если она не снесет яичка
и в сем лабиринте без Ариадны
(ибо у смерти есть варианты,
предвидеть которые — тоже доблесть)
я останусь один и, увы, сподоблюсь
холеры, доноса, отправки в лагерь —
но если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

X

Впрочем, спешка глупа и греховна. *Vale!*
То-есть некуда так поспешать. Едва ли
может крепкому креслу грозить погибель.
Ибо у нас, на Востоке, мебель
служит трем поколениям кряду.
А я исключаю пожар и кражу.
Страшней, что смешать его могут с кучей
других при уборке. На этот случай
я даже сделать готов зарубки,
изобразив голубка голубки.

XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,
по общим орбитам столов и стульев
кресло твое по ночной столовой.
Клеймо — не позор, а основа новой
астрономии, что — перейдем на шопот —
подтверждает армейско-тюремный опыт:
заклейменные вещи — источник твердых
взглядов на мир у живых и мертвых
Так что мне не взирать, как в подобны лица,
на похожие кресла с тоской Улисса.

XII

Я — не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Ибо от всякой великой веры
остаются, как правило, только мощи.
Так суди же о силе любви, коль вещи
те, к которым ты прикоснулась ныне,
превращаю — при жизни твоей — в святыни.
Посмотри: доказуют такие нравы
не величье певца, но его державы.

XIII

Русский орел, потеряв корону,
напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот
теперь превратился в картавый рокот.
Это — старость орлов или — голос страсти,
обернувшейся следствием, эхом власти.
И любовная песня — немногим тише.
Любовь — имперское чувство. Ты же
такова, что Россия, к своей удаче,
говорить не может с тобой иначе.

XIV

Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей. В стояк за каплей
падает капля из крана. Скромно
стрекочет будильник под лампой. Ровно
падает свет на пустые стены
и на цветы у окна, чьи тени
стремятся за раму продлить квартиру.
И вместе всё создает картину
того в этот миг — и вдали, и возле —
как было до нас. И как будет после.

XV

Доброй ночи тебе, да и мне — не бденья.
Доброй ночи стране моей для сведенья
личных счетов со мной пожелай оттуда,
где посредством верст или просто чуда
ты превратишься в почтовый адрес.
Деревья шумят за окном, и абрис
крыш представляет границу суток...
В неподвижном теле порой рассудок
открывает в руке, как в печи, заслонку.
И перо за тобою бежит вдогонку.

XVI

Не догонит!... Поелику ты как облак.
То-есть, облик девы, конечно, облик
души для мужчины. Не так ли, Муза?
В этом причины и смерть союза.
Ибо души — бесплотны. Ну что ж. Тем дальше
ты от меня. Не догонит!... Дай же
на прощание руку. На том спасибо.
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда — не слово, а вправду цифра,

чьи нули, когда мы зарастем травой,
перекроют эпоху и век с лихвою.

1967

V

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

I

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»
«Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».
«Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».
«А я не вижу ничего смешного.
Врач говорит: основа всех основ —
нормальный сон». «Да ничего дурного
я не хотел... хоть сон того, не нов».
«А что попишешь, если нет иного?»
«Мы, ленинградцы, видим столько снов,
а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься». «Скажи мне, Горчаков,
а что вам, ленинградцам, часто снится?»
«Да как когда... Концерты, лес смычков.
Проспекты, переулки. Просто лица.
(Сны состоят как будто из клочков).
Нева, мосты. А иногда — страница,
и я ее читаю без очков!
(Их отбирает перед сном сестрица)».
«Да, этот сон сильнее моих зрачков!»
«Ну что ты? Часто снится и больница».

«Не нужно жизни. Знай себе смотри.
Вот это сон! И вправду день не нужен.
Такому сну мешает свет зари.
И как, должно быть, злишься ты, разбужен...
Проклятие, Мицкевич! Не ори!...
Держу пари, что я проспал бы ужин».
«Порой мне также снятся снегири.
Порой ребенок прыгает по лужам.
И это — я...» «Ну что ж ты, говори.
Чего ж ты смолк?» «Я, кажется, простужен.

Тебе зачем всё это?» «Просто так».
«Ну вот, я говорю, мне снится детство.
Мы с пацанами лезем на чердак.
И снится старость. Никуда не деться
от старости... Какой-то кавардак:
старик, мальчишка...» «Грустное соседство».
«Ну, Горбунов, какой же ты простак!
Ведь эти сновиденья только средство
ночь провести поинтересней». «Как?!»
«Чтоб ночью дня порастрясти наследство».

«Ты говоришь «наследство»? Вот те на!
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
а как же старость? Старость не видна.
Когда ж это ты был седоволосым?»
«Зачем хрипит Бабанов у окна?
Зачем Мицкевич вертится под носом?
На что же нам фантазия дана?
И вот воображеньем, как насосом,
я втягиваю старость в царство сна».

«Но, Горчаков, тогда, прости, не ты,
не ты себе приснишься». «Истуканов
тебе подобных просто ждут Кресты,
и там не выпускают из стаканов!
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?»
«Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».
«Ты спятил, Горбунов!» «Твои черты,
их — седина; таких самообманов
полно и наяву до тошноты».
«Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».
«Порой мне снится печка, головешки...»
«Да, Горчаков, вот это сон так сон!
Проспекты, разговоры. Просто вещи.
Рояль, поющий скрипке в унисон.
И женщины. И, может, что похлеще».
«Вчера мне снился стол на шесть персон».
«А сны твои — они бывают вещи?
Иль попросту всё мчится колесом?»
«Да как сказать; те — вещи, те — зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый — пленник снов».
«Мне говорили: каждый — раб привычки.
Ты ничего не спутал, Горбунов?»
«Да нет, я даже помню вид странички».
«А Фрейд не врет?» «Ну, мало ли врунов...
Но вот, допустим, хочется клубнички...»
«То самое, в штанах?» «И без штанов.
А снится, что клюют тебя синички.
Сны откровенней всех говорунов».
«А как же, Горбунов, твои лисички?»

«Мои лисички — те же острова.
(Да и растут лисички островками.)
Проспекты те же, улочки, слова.
Мы говорим, как правило, рывками.
Подобно тишине, меж них — трава.
Но можно прикоснуться к ним руками!
Отсюда их обширные права,
и кажутся они мне поплавками,
которые несет в себе Нева
того, что у меня под башмаками».

«Так, значит, ты один из рыбаков,
которые способны бесконечно
взирать на положение поплавок,
не правда ли?» «Пока что безусловно».
«А в сумерках конструкции крючков
прикидывать за ужином беспечно?»
«И прятать по карманам червячков!»
«Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно».
«Ты хочешь огорчить меня?» «Конечно.
На то я, как известно, Горчаков».

II

Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя
и овощи». «Ну, всё повеселее.
А что снаружи?» «Звездные поля».
«Смотрю, в тебе замашки Галилея».
«Вторая половина февраля
отмечена уходом Водолея,
и Рыбы водворяются, суля,
что скоро будет в реках теплее».
«А что земля?» «Что, собственно, земля?»
«Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

«Да, знаешь, ты действительно готов.
Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
На буйном тоже некий Хомутов
— кругом галдеж, блевотина и стоны —
твердит: я — Гамильтон, и я здоров;
а сам храпит, как наши харитоны».
«Шло при Петре строительство портов,
и наезжали разные тевтоны.
Фамилии нам стоили трудов.
Возможно, Хомутовы — Гамильтоны».

«Натоплено, а чувствую озноб».
«Напрасно ты к окошку прислонился».
«Из-за твоих сверкающих зазноб».
«Ну что же, убедился?» «Усомнился.
Я вижу лишь аллею и сугроб».
«Вон Водолей с кувшином наклонился».
«Нам телескоп иметь здесь хорошо б».
«Да, хорошо б». «И ты б угомонился».
«Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!»
«Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

«С ногами на постель мою ты влез.
Я думаю, что мог бы потрудиться
снять шлепанцы». «Но холодно мне без,
без шлепанцев. Не следует сердиться.
Я зябну потому, что интерес
к сырым лисичкам в памяти гнездится».
«Не снился Фрейду этакий прогресс!
Прогресса же не следует стыдиться:
приснится активисту мокрый лес,
и пассивист способен простудиться».

«Лисички не безвредны и, по мне,
они враги душевному здоровью.
Ты ценишь их?» «С любовью наравне».
«А что ты понимаешь под любовью?»
«Разлуку с одиночеством». «Вполне?»
«Возможность наклониться к изголовью
и к жизни прикоснуться в тишине
дыханием, руками или бровью...»
«На что ты там уставился в окне?»
«Само сопротивление суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».
«Ну, что твои лисички-невелички?»
«Я думаю обычно о любви
всегда, когда смотрю я на лисички.
Не знаю, где — в уме или в крови —
но чувствую подобье переключки».
«Привычка и нормальное, увы,
стремление рассудка к обезличке».
«То область рук. А в сфере головы —
отсутствие какой-либо привычки».

«И, стало быть, во сне, когда темно,
ты грезишь о лисичках?» «Постоянно».
«Вернее, о любви?» «Ну всё равно.
По-твоему, наверно, это странно?»
«Не странно, а, по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?» «Смешно».
«Не дашь ли ты мне яблока?» «Я дам, но
понять тебе лисичек не дано».
«Лисички — это, знаешь, полигамно».

«Вот! Я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне!»
«Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех — то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собралась, как в призме,
в моей груди? Мне мнится без помех
грядущее». «Мы, стало быть, на тризне
присутствуем?» «И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме».

«А Страшный Суд?» «А он — движенье вспять,
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.
А я пол-жизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступить
от Огненного Ангела Твердыни...»
«Боль сокрушит гордыню». «Ни на пядь;
боль напитала дерево гордыни».

«Ты, значит, не боишься темноты?»
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне».
«И я с ориентирами на ты.
Полно ориентиров, только свистни».
«Находчивость — источник суеты».
«Я не уверен в этом афоризме.
Душа не ощущает тесноты».
«Ты думаешь? А в мертвом организме?»
«Я думаю, душа за время жизни
приобретает смертные черты».

III

Горбунов в ночи

«Больница. Ночь. Враждебная среда...
Всё это не трагедия... К тому же
и приговоры Страшного Суда
тем легче для души моей, чем хуже
ей было во плоти моей... Всегда,
когда мне скверно, думаю, что ту же
боль вынесу вторично без труда.
Так мальчика прослеживают в муже...
Лисички занесли меня сюда.
А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена
не снится мне. И правильно, где тонко,
там рвется. Эта мысль не лишена...
Я сделал ей намеренно ребенка.
Я думал, что останется она.
Хоть это — психология подонка.
Но, видимо, добрался я до дна.
Не знаю, как душа, а перепонка
цела. Я слышу шелест полотна.
Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.
Но в нем с галлюцинациями слуха
нет общего: давление на дне —
давление безвредное для уха.
И голос тот противоречит мне.
Уверенно, настойчиво и глухо.
Кому принадлежит он? Не жене.
Не ангелам. Поскольку царство духа
безмолвствует с женою наравне.
Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
Гудит ольха, со звездами сражаясь.
Из-за угла в еврейский телескоп
глядит медбрат, в жида преображаясь.
Сужается постель моя, как гроб.
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
И кровь шумит, как клюквенный сироп.
И щиколотки стынут, обнажаясь.
И делится мой разум, как микроб,
в молчаньи безгранично размножаясь!

Нас было двое. То-есть, к алтарю...
Она ушла. Задетый за живое,
теперь я вечно с кем-то говорю.
Да, было двое. И осталось двое!
Февраль идет на смену январю.
Вот так, напоминая о конвое,
алтарь, благодаря календарю,
препятствует молчанью, каковое
я тем уничтожаю, что творю
в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.
Собой? А не позвать ли Горчакова?
Эй, Горчаков!... Да нет, уже отбой.
Да так ли это, впрочем, бестолково,
когда одни уста наперебой
поют двоих в отсутствие алькова?
Я сам слежу за собственной губой.
Их пополам притягивает слово.
Я — круг в сеченьи. Стало быть, любой
из нас двоих — магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.
Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчаньи. А тем более — в присесте.
Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.

А всё, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскраивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,
то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних, и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум
Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль обращаться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданиями и слезкой
прямым благословеньем Твоим».

IV

Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад».

«О Горбунове?» «Да, о Горбунове».

«Он выражает беспартийный взгляд

на вещи, на явления, — в основе

своей диалектический; но ряд —

но ряд его высказываний внове

для нас». «Они, бесспорно, говорят

о редкостной насыщенности крови

азотом, разложившим аппарат

самоконтроля». «Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир

на подбородке. Нос его расцвечен

сосудами, раздавшимися вширь...»

«Я думаю, разрушенная печень».

«Компрессами и путаницей жил

асимметричный лоб его увенчан.

Лисички — его слабость и кумир.

Он так непривлекателен для женщин.

— «Преувеличен внутренний наш мир,

а внешний соответственно уменьшен» —

вот характерный для него язык.

В таких вот выражениях примерных

свой истинный показывает лик

сторонник непартийных, эфемерных

воззрений...» «В этом чувствуется сдвиг

налево от открытий достоверных

марксизма». «Недостаточно улик».

«А как насчет явлений атмосферных?»

«А он отвык от женщины?» «Отвык.

В нем нет телодвижений характерных

для этого... ну как его... ах ты!...»
«Спокойно, Горчаков!» «...для женолюбца».
«А как он там... ну, в смысле наготы?...
Там органы и прочее?» «Сугубо,
сугубо от нужды и до нужды.
Простите, что высказываюсь грубо».
«Ну что вы! Не хотите ли воды?»
«Воды?» «А вы хотели коньяку бы?»
«Не признаю я этой ерунды».
«Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».
«Что именно?» «Не помню, извините».
«Наверное, стакан перед едой?»
«Да нет же, вы мне спутали все нити...
Постойте, вижу... человек... худой...
вокруг — пустыня... Азия... взгляните:
ползут пески татарскою ордой,
пылает солнце... как его?... в зените.
Он окружен враждебной средой...
И вдруг — колодец...» «Дальше! Не тяните!»

«А дальше вновь всё пусто и мертво.
Колодец... это самое... сокрылся».
«Эй, Горчаков! Что с вами?» «Я... того.
Я, знаете, того... заговорился.
Во всем великолепье своего
идеализма нынче он раскрылся».
«Кто? Горбунов?» «Ну да, я про него.
Простите мне, товарищи, что сбился».
«Нет-нет, вы продолжайте. Ничего».
«Я слишком в Горбунова углубился...»

Он — беспартийный, вот его беда!
И если день особенно морозен,
он сильно отклоняется туда...
ну, влево, к отоплению...» «Грандиозен!»
«А он религиозен?» «О, да-да!
Он так религиозен... религиозен!
Я даже опасуюсь иногда:
того гляди, что бухнется он о землю
и станет Бога требовать сюда».
«Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»
«Чему вы усмехаетесь, коллега?»
«Тому, что это, в общем, чепуха:
от Горчакова батареи слева,
от Горбунова, стало быть...» «Ага!
Как в шахматах? Король и королева?
Напротив!» «Справедливо». «От греха
запишем, так сказать, для подогрева
два мнения». «Идея неплоха».
«Какая ж это песня без припева?

Ну вот и заключение... шнурков!
подшить!... Эй, Горчаков, вы не могли бы
автограф свой?» «Я нынче без очков».
«Мои не подойдут?» «Да подошли бы».
Так: «влево уклоняется»... каков!
...«и вправо»... справедливо! Справедливы
два мнения. Мы этих барчуков...
Одно из двух: мы выкурим их, либо...»
«Спасибо вам, товарищ Горчаков».
На Пасху мы вас выпустим». «Спасибо».

Да-да. Благодарю. Благодарить...
Не сделать ли поклона поясного?...
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!...
О ужас, я же истины — ни слова...
Да, собственно, откуда эта прыть?
Плевать на параноика лесного!
Уток теряет собственную нить,
когда под ним беснуется основа.
Как странно Горчакову говорить
безумными словами Горбунова!»

V

Песня в третьем лице

«И он ему сказал». «И он ему
сказал». «И он сказал». «И он ответил».
«И он сказал». «И он». «И он во тьму
воззрился и сказал». «Слова на ветер».
«И он ему сказал». «Но, так сказать,
сказать «сказал» сказать совсем не то, что
он сам сказал». «И он «к чему влезать
в подробности» сказал; всё ясно. Точка».
«Один сказал другой сказал струит».
«Сказал греха струит сказал к веригам».
«И молча на столе сказал стоит».
«И, в общем, отдает татарским игом».
«И он ему сказал». «А он связал
и свой сказал, и тот, чей отзвук замер».
«И он сказал». «Но он тогда сказал».
«И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». «Вот так булыжник вдруг
швыряют в пруд. Круги — один, четыре...»
«И он сказал». «И это — тот же круг,
но радиус его, бесспорно, шире».
«Сказал — кольцо». «Сказал — еще кольцо».
«И вот его сказал уткнулся в берег».
«И собственный сказал толкнул в лицо,
вернувшись вспять». «И больше нет Америк».
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
«Суть поезда». «Всё дальше, дальше рейсы».
«И вот уже сказал почти вокзал».
«Никто из них не хочет лечь на рельсы».
«И он сказал». «А он сказал в ответ».
«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».
«И он сказал». «Но раз сказал — предмет,
то также относиться должно к он'у».

«И он ему». «И он». «И он ему».
«И я готов считать, что вечер начат».
«И он ему». «И это всё к тому,
что оба суть одно взаимно значат».
«Он, собственно, вопрос». «Ему — ответ».
«Потом наоборот». «И нет различья».
«Конечно, между ними есть просвет».
«Но лишь как средство избежать двуличья».
«Он кем (ему) приходится ему?»
«И в неживой возможны ли природе
сношенья, неподсудные уму?»
«Пусть не родня обычная, но вроде?»
«Чего не разберет судебный зал!
Сидит судья; очки его без стекол».
«Он кто ему?» «Да он ему — сказал».
«И это грандиознее, чем свекор».
«Огромный дом. Слепые этажи.
Два лика, побледневшие от вони».
«Они не здесь». «А где они, скажи?»
«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е»
«Огромный дом. Фигуры у окна.
И гомон, как под сводами вокзала.
Когда здесь наступает тишина?»
«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».
«Сказала, знаешь, требует она».
«Но это же сказал во время он'а».
«А всё-таки приятна тишина».
«Страшнее, чем анафема с амвона».
«Так, значит, тут страшатся тишины?»
«Да нет; как обстоятельствами места
и времени, все объединены
сказал'ом, наподобие инцеста».

«И это — образ действия?» «О да.
Они полны сношеньями своими.
«Когда они умолкнут?» «Никогда».
«Наверное, как собственное имя».
«Да, собственное имя — концентрат.
Оно не допускает переносов,
замен, преобразований и утрат».
«И это, в общем, двигатель вопросов».
«Вот именно! И косвенная речь
в действительности — самая прямая».
«И этим невозможно пренебречь
без личного ущерба». «И, внимая,
тому, что Он Сказал произнесет,
как дети у церковного притвора,
мы как бы приобщаемся высот,
достигнутых еще до разговора».

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»
«Кругом — врачи». «Рассказывать подробно».
«Мне ночью снился океанский вал.
Мне снилось море». «Неправдоподобно!»
«Должно быть, он забыл уже своих
лисичек». «Невозможно!» «Вероятно».
«Да нет, он отвечает за двоих».
«И это уж, конечно, необъятно».
«Я видел сонмы сумеречных вод.
Отчетливо и ясно. Но, при этом,
я видел столь же ясно небосвод...»
«И это вроде выстрела дуплетом».
«...И гребни, словно гривы жеребцов,
расставшихся с утопленной повозкой».
«А не было там, знаете, гребцов,
утопленников?» «Я не Айвазовский.
Я видел гребни пенившихся круч.
И берег — как огромная подкова...
И Он Сказал носился между туч
с улыбкой Горбунова, Горчакова».

VI

Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори».
«Да я ж тебе сказал о разговоре
с комиссией». «Да брось ты, не хитри.
Я сам его подслушал в коридоре».
«Ну вот, я говорю...» «Держу пари,
ты станешь утверждать, что снится море».
«Да, море, разумеется». «Не ври,
не верю». «Не настаиваю. Горе
невелико». «Ты только посмотри,
как залупился! Истинно на воре

и шапка загорается». «Ну, брось».
«Чего ж это я брошу, интересно?»
«Да я же, Горчаков, тебя насквозь...»
«Нашелся рентгенолог!» «Неуместно
подшучиваешь. Как бы не пришлось
раскаиваться». «Выдумает!» «Честно.
Как только мы оказывались врозь,
комиссии вдруг делалось известно,
о чем мы тут... Сексотничал, небось?
Чего же ты зарделся, как невеста?»

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь».
«Не мучь меня!» «Что, я — тебя? Занятно!»
«Ты сердишься». «Ну, хочешь побожусь?»
«Тебе же это будет неприятно».
«Да нет, я не особенно стыжусь».
«Вот это уже искренне». «Обратно
за старое? Неужто я кажусь
тебе достойным слежки? Непонятно».
«А что ж не побожись?» «Я боюсь,
что ты мне не поверишь». «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».
«Я смешиваю зёрна и полову».
«Вот видишь, ты не веришь ничему:
ни Знамению Крестному, ни слову».
«Война в Крыму. Всё, видимо, в дыму.
Цитирую по дедушке Крылову...
Отсюда ты отправишься в тюрьму».
«Ты шел бы, подобру да поздорову...»
«Чего ты там тарачишься во тьму?»
«Уланову я вижу и Орлову».
«Я, знаешь ли, смотаюсь в коридор».
«Зачем?» «Да так, покальывает темя».
«Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»
«Что, истины выискиваешь семя?»
«Ты тоже ведь тарачишься во двор».
«Сексотишь, вероятно, сучье племя».
«Я просто расширяю кругозор».
«Не веря?» «Недоверчивость не бремя.
Ты знаешь, и донос, и разговор —
всё это как-то скрашивает время».
«А время как-то скрашивает дни».
«Вот, кажется, и темя отпустило...
Ну, что тебе приснилось, не темни!»
«А, всё это тоскливо и постыло...
Ты лучше посмотрел бы на огни».
«Ну, тени от дощатого настила...»
«Орлова! и Уланова в тени...»
«Ты знаешь, как бы кофе не остыло».
«Война была, ты знаешь, и они
являлись как бы символами тыла».
«Вторая половина февраля.
Смотри-ка, что показывают стрелки».
«Я думаю, лишь радиус нуля».
«А цифры?» «Как бордючик на тарелке...
Сервиз я видел, сделанный а ля
Мейссенские...» «Мне нравятся подделки».
«Там надпись: «мастерская короля»
и солнце — вроде газовой горелки».
«Сейчас я взял бы вермуту». «А я
сейчас не отказался бы от грелки...»

Смотри, какие тени от куста!»
«Прости, но я материю всё ту же...
те часики...» «Обратно неспроста?»
«Ты судишь обо мне гораздо хуже,
чем я того...» «Виной твои уста».
«Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»
«Да просто так; снаружи — пустота».
«Зато внутри теплее, чем снаружи».
«Ну, эти утепленные места
являются лишь следствиями стужи».

«А как же быть со штабелями дров?»
«Наверное, связующие звенья...
О Господи, как дует из углов!
И холодно, и голоден как зверь я».
«Болезни — это больше докторов».
«Подворье грандиознее преддверья».
«Но все-таки, ты знаешь, это кров».
«Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;
и знай — реальность высказанных слов
огромней, чем реальность недоверья».

«Да, стужа грандиознее тепла».
«А время грандиознее, чем стрелка».
«А древо грандиознее дупла».
«Дупло же грандиознее, чем белка».
«А белка грациознее орла».
«А рыбка... это самое... где мелко».
«Мне хочется раздеться догола!»
«Где радиус, там вилка и тарелка!»
«А дерево, сгоревшее дотла...»
«Едва ли грандиознее, чем грелка».

VII

Горбунов и Горчанов

«Ты ужинал?» «Да, прежняя трава.
Всё овощи...» «Не стоит огорчаться.
Нам птичьи тут отпущены права». «Но мясо не должно бы запрещаться». «Взгляни-ка лучше: новые дрова...» «Имею же я право возмущаться!» «Ну нет, администрация права, права в пределах радиуса». «Вжаться в сей радиус не жаждет голова, а брюхо...» «Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж, мне кажется, пошаливает почка». «Но сам-то я — вне радиуса». «Чушь! А кто же предо мной?» «Лишь оболочка». «Ну, о неограниченности душ слышал я что-то в молодости. Точка». «Да нет, помимо этого, я — муж. Снаружи и жена моя, и дочка». «Тебе необходим холодный душ! Где именно?» «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». «Ни фига. Скорее, это я тебе приснился». «Опочка где-то в области». «Ага». «Далёко ты того... распространился». «Мне следует удариться в бега». «Не стоит. Ты весьма укоренился». «Ты прав. Но, говорят, одна нога... другая там... Вообще я обленился! Не сделать семимильного шага!» «Ну-ну, угомонись». «Угомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» «Семьсот;
по-старому». «И где же?» «В учрежденьи».
«Боишься, что спросил и донесет?»
«Ну кто себе откажет в наслажденьи?»
«Тебя мое молчанье не спасет».
«Да, знаешь ли, по зрелом рассужденье...»
«Приятнее считать, что я сексот,
чем размышлять о местонахожденье».
«Увы, до столь пронзительных высот
мешает мне взорлить происхожденье».

«Так что ж ты заседаешь на меню?»
«Еще не превратился в ветерана
и трижды то же самое на дню...»
«Ты меряешь в масштабах ресторана».
«Я вписываю в радиус родню».
«Тебе, должно быть, резали барана
для ужина». «Я, собственно, клоню
к тому, что мне отказываться рано
от прошлого». «Кончай пороть херню».
«А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни».
«Тем хуже для тебя оно, тем хуже».
«Я только ножка циркуля. Они —
опора неподвижная снаружи».
«И это как-то скрашивает дни,
чем шире этот радиус?» «Чем уже».
На свете так положено: одни
стоят, другие двигаются вчуже».
«Бывают неподвижные огни,
расширенные радиусом лужи».

«Я двигаюсь!» «Не ведаю, где старт,
но финиш — ленинградские сугробы».
«Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
мне мог бы позавидовать». «Еще бы!
Мне нравится твой искренний азарт».
«А мне твои душевные трущобы
наскучили». «А что твой миллиард —
ну, звездные ковши и небоскребы?»
«Восходит Овн, курирующий март».
«Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

«Вот именно. Нам стали бы видны
опоры наши дальние». «Начатки
движения». «Мы чувствовать должны
устойчивость Опочки и Камчатки».
«Я в марте родился. Мне суждены
шатания. Мне сняли отпечатки...
Как жаль, что мы дрожать принуждены:
опоры наши дальние столь шатки...»
«Которые под Овном рождены,
должны ходить в каракулевой шапке».

«Ты думаешь, от холода дрожу?»
«А сверься с посиневшими пальцами».
«А ты?» «Я Близнецам принадлежу.
Я в мае родился, под Близнецами».
«Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...»
«Короче! Не мудри с немудрецами!»
«В сравнении с тобой я нахожу,
что вовсе мне не холодно». «С концами!»
«В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!»
«Да нет, всё это правда — с месяцами».

«Увы, на телескоп не наскрести,
и мы своих опор не наблюдаем».
«Пусть радиус у жизни не в чести,
сам циркуль, Горчаков, неувядаем».
«Еще умру тут, Господи, прости,
считая, что тот свет необитаем».
«Нет, не умрешь; напрасно не грусти».
«Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем».
«Тот груз, которым нынче обладаем,
в другую жизнь нельзя перенести».

VIII

Горбунов в ночи

«Твой довод мне бессмертие сулит!
Мой разум, как извилины подстилки,
сияньем твоих доводов залит —
не к чести моей собственной коптилки...
Проклятие, что делает колит!
И мысли — словно демоны в бутылке.
Твой светоч мой фитиль не веселит!
О Горбунов! от слов твоих в затылке,
воспламеняясь, кровь моя бурлит —
от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.
Плюс радиус ночного циферблата...
Оставил только яблоки в залог
и смысл, наподобие Пилата!
Попробуем забиться в уголок,
исследуем окраины халата.
Водрузим на затылок котелок
с присохшими остатками салата...
Какие звезды?! Пол и потолок.
В окошке — отражается палата.

Ночь. Окна — бесконечности оплот.
Палата в них двоится и клубится.
За окнами — решетки переплет:
наружу отраженью не пробиться.
В пространстве этом — задом-наперед —
постелью мудрено не ошибиться.
Но сон меня сегодня не берет.
Уснуть бы... и вообще — самоубиться!
Рискуя — раз тут всё наоборот —
тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.
Приносит ли им пользу отраженье?
Оно лишь умножает тесноту,
поскольку бесконечность — умноженье.
Я сам уже в глазах своих расту,
и стёкла, подхлестнув воображенье,
сжимают между койками версту...
Я чувствую во внутренностях жженье,
взирая на далекую звезду.
Основа притяженье — торможенье!

Нормальный сон — основа всех основ!
Верней, выздоровления основа.
Эй, Горбунов!... на кой мне Горбунов?!
Уменьшим свою речь на Горбунова!
Сны откровенней всех говорунов
и грандиозней яблока глазного.
Фрейд говорит, что каждый — пленник снов.
Как странно в это вдумываться снова...
Могилы исправляют горбунов!...
Конечно, за отсутствием иного

лекарства... А сия галиматья —
лишь следствие молчания соседних
кроватей. Ибо чувствую, что я
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
В словах я приобщаюсь бытия!
Им нужен продолжатель и наследник!
Ты, Горбунов, мой высший судия!
А сам я — только собственный посредник
меж спящим и лишенным забытья,
смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат
открыл ее!... Не может быть и речи.
На этот — ныне запертый — квадрат
приходятся лицо мое и плечи.
Ведь это означало бы разврат,
утечку отражения. А течи
тем плохи, что любой дегенерат
решился бы, поскольку недалече,
удрать хоть головою в Ленинград...
О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,
себя всего лишь радиусом стрелки!
Никто меня, я думаю, не ждет
ни здесь, ни за пределами тарелки,
заполненной цифирью. Анекдот!
Увы, тебе масштабы эти мелки!
Грядет твое мучение. Ты тот,
которому масштаб его по мерке.
Весь ужас, что с тобой произойдет,
ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.
Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
во власть твою я должен отдаваться!
К тебе свои молитвы возношу!
Мне некуда от слов твоих деваться!
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
Им нужно надо мною раздаваться!
Затем-то я на них и доношу,
что с ними неспособен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!
Не то, чтобы страшился я разлуки...
Зажав освобождение в горсти,
к тебе свои протягиваю руки.
Как всё, что предстоит перенести —
источник равнодушия и скуки —
не помни, Горбунов, меня, не мсти!
Как эхо, продолжающее звуки,
стремясь их от забвения спасти,
люблю и предаю тебя на муки.

IX

Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам».
«О чём?» «О ваших снах». «Об оболочке».
«И называйте всех по именам».
«О циркуле». «Рассказывай о дочке».
«Дочь не имеет отношенья к снам».
«Давай-ка, Горбунов, без проволоочки».
«Мне снилось море». «Ну его к хренам».
«Да, лучше обойдемся без примочки».
«Без ваших по морям да по волнам».
«Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И сполна».
«Для вашей пользы». «Реплика во вкусе
вопросов Красной Шапочки. Она,
вы помните, спросила у бабуси
насчет ушей, чья странная длина...
«не бойся» — та в ответ, — «ахти, боюси»,
«чтоб лучше слышать внучку!» «Вот те на!
Не думали о вас мы, как о трусе».
«К тому ж, в итоге крошка спасена».
«Во всем есть плюсы». «Думайте о плюсе».

«Чего молчите?» «Просто невтерпеж!
Дождется, что придется рассердиться!»
«Чего ты дожидаешься?» «Что ложь,
не встретив возражений, испарится».
«И что тогда?» «Естественнее всё ж
на равных толковать, как говорится».
«Ну, мне осточертел его скулеж.
Давайте впрыснем кальцию, сестрица».
«Он весь дрожит». «Естественная дрожь.
То мысли обостряются от шприца».

«Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
что снилось?» «Только море». «А лисички?»
«Увы, их больше не было». «Увы!»
«Я свылся с ними. Это — по привычке».
«О женщинах, когда они мертвы
или смотались к чорту на кулички,
так сетуют мужчины». «Вы правы:
«увы» — мужская реплика. Кавычки».
«Но может быть и возгласом вдовы».
«Запишем обе мысли в рапортичке».

«Сны обнажают тайную канву
того, что совершается в мужчине».
«А то, что происходит наяву,
не так нас занимает по причине...»
«Причину я и сам вам назову».
«Да: Горчаков. Но дело не в личине,
им принятой скорей по озорству;
но в снах у вас — тенденция к пучине».
«Вы сон мой превращаете в Неву.
А устье говорит не о кончине;

скорей, о размножении». «Едва ль
терпимо, чтоб у всяческих отбросов
пошло потомство». «Экая печаль.
Река, как уверяет нас философ,
стоит на месте, убегая вдаль».
«И это, говорят, вопрос вопросов».
«Отсюда Ньютон делает мораль».
«Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов».
«А что у нас за окнами?» «Февраль.
Пора метелей, спячки и доносов».

«Как месяц, он единственный в году
по дням своим». «Подобие калеки».
«Но легче ведь прожить его?» «К стыду,
признаюсь: легче легкого». «А реки?»
«Что — реки?» «Замыкаются во льду».
«Но мы-то говорим о человеке».
«Вы знаете, что ждет вас?» «На беду,
подозреваю: справка об опеке?»
«Со всем, что вы имеете ввиду,
вы, в общем, здесь останетесь навеки».

«За что?!... а впрочем, следует в узде
держаться себя... нет выхода другого».
«И кликнуть Горчакова». «О звезде
с ним можно побеседовать». «Толково».
«Везде есть плюсы». «Именно: везде».
«И сам он вездесущ, как Иегова;
хотя он и доносит». «На гвозде,
как правило, и держится подкова».
«Как странно Горбунову на кресте
рассчитывать внизу на Горчакова».

«Зачем преувеличивать?» «К чему,
милейший, эти мысли о Голгофе?»
«Но это — катастрофа». «Не пойму:
вы вечность приравнивали к катастрофе?»
«Он вечности не хочет потому,
что вечность точно пробка в полуштофе».
«Да, всё это ему не по уму».
«Эй, Горбунов, желаете ли кофе?»
«Почто меня покинул!» «Вы к кому
взываете?» «Опять о Горчакове

тоскует он». «Не дочка, не жена,
а Горчаков!» «Всё дело в эгоизме».
«Да Горчаков ли?» «Форма не важна.
Эй, Горбунов, а ну-ка покажись мне.
Твоя, ты знаешь, участь решена».
«А Горчаков?» «Предайся укоризне:
отныне вам разлука суждена.
Отпустим. Не вздыхай об этом слизне».
«Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность». «Просто тишина».

Х

Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».
«Расчерченная школьная тетрадка».
«Стоит огромный сумасшедший дом».
«Как вакуум внутри миропорядка».
«Фасад скрывает выстуженный двор,
заваленный сугробами, дровами».
«Не есть ли это тоже разговор,
коль скоро всё описано словами?»
«Здесь — люди, и сошедшие с ума
от ужасов — утробных и загробных».
«А сами люди? Именно сама
возможность называть себе подобных
людьми?» «Но выражение их глаз?
Конечности их? Головы и плечи?»
«Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи».
«И части тела?» «Именно они».
«А место это?» «Названо же домом».
«А дни?» «Поименованы же дни».
«О, всё это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?»
«Тут имя прозвучало бы зловеще».
«Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!»
«Бесспорно, это голову кружит».
«Как море — Горбунову; нездорово».
«Не море, значит, на берег бежит,
а слово надвигается на слово».
«Слова — почти подобие мощей!»
«Коль вещи эти где-нибудь да висли...
Названия — защита от вещей».
«От смысла жизни». «В некотором смысле».
«Ужель и от страдания Христа?»
«От всякого страдания». «Бог с вами!»
«Он сам словами пользовал уста...
Но он и защитил себя словами».
«Тем, собственно, пример его и вещь!»
«Гарантия, что в море — не утонем».
«И смерть его — единственная вещь
двузначная». «И, стало быть, синоним».

«Но вечность-то? Иль тоже на столе
стоит она сказалом в казакине?»
«Единственное слово на земле,
предмет не поглотившее поныне».
«Не это ли защита от словес?»
«Едва ли». «Осеняющийся Крестным
Знаменем спасется». «Но не весь».
«В синониме не более воскреснем».
«Не более». «А ежели в любви?
Она — сопротивленью суесловью».
«Вы либо небожитель; либо вы
мешаете потенцию с любовью».
«Нет слова, столь лишенного примет».
«И нет непроницаемой покрова,
столь полно поглотившего предмет;
и более щемящего, как слово».
«Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:
и слово — вещь. Тогда мы спасены!»
«Тогда и начинается молчанье».

Молчанье — это будущее дней,
катящихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.
Молчанье — это будущее слов,
уже пожравших гласными всю вещьность,
страшащуюся собственных углов;
волна, перекрывающая вечность.
Молчанье есть грядущее любви;
пространство, а не мертвая помеха,
лишающее бьющийся в крови
фальцет ее и отклика, и эха.
Молчанье — настоящее для тех,
кто жил до нас. Молчание — как сводня,
в себе объединяющая всех,
в глаголющее вхожая сегодня.
Жизнь — только разговор перед лицом
молчанья». «Пререкания движений».
«Речь сумерек с расплывшимся концом».
«И стены — воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».
«Речь хаоса, изложенная кратко».
«Стоит огромный сумасшедший дом,
как вакуум внутри миропорядка».
«Проклятие, как дует из углов!»
«Мой слух твое проклятие не колет:
не жизнь передо мной — победа слов».
«О как из существительных глаголет!»
«Так птица вылетает из гнезда,
гонимая заботами о харче».
«Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче».
«И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор».
«Чем именно?» «Неровностями почвы».
«Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?»
«Когда повыше — это Горбунов,
а где пониже — голос Горчакова».

XI

Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда». «Тогда я и не спрашиваю». «Так-то, проснулось чувство — как его? — стыда». «Скорее, чувство меры или такта». «Хорош!» «А что поделаешь? Среда заела. И зависимость от факта». «Какого?» «Попадания сюда». «Ты довести способен до инфаркта. Пошел ты вместе с фактами... туда». «Давай, не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». «Ну что ж... Так ты меня покинешь?» «После Пасхи». «Куда же ты отсюда пойдешь?» «Домой пойду». «А примут без опаски?» «Я думаю». «А где же ты живешь?» «Не предаю я адреса огласке». «Сдается мне, дружок, что это ложь». «Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки». «Ты всё равно ко мне не попадешь». «О чем ты?» «Я всё больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав». «Лишь думаешь?» «Ну, вырвалось случайно. Я сомневаться не имею прав». «А чем займешься дома?» «Это тайна». «Подобный стиль беседовать избрав, контакта хочешь? Странно чрезвычайно». «Не стиль таков, а, собственно, мой нрав». «А может, хочешь яблока ты?» «Дай, но не расколюсь я, яблоко забрав... Поднять и бросить, вира или майна —

вот род моих занятий основной.
Всё прочее считаю посторонним».
«Глаза мне застилают пеленой!
Поднять и бросить! — это же синоним
всего происходящего со мной».
«Ну, мы тебя, не бойся, не уроним».
«Что значит «мы»? «Не нервничай, больной.
Хошь, научу гаданью по ладоням?»
«Прости, я повернусь к тебе спиной».
«Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей».
«Таким я вышел, видимо, из чрева».
«Но бытие...» «Чайку тебе?» «Налей...
определяет...» «Греть?» «Без подогрева...
сознание... Ну ладно, подогрей».
«Прочел бы это справа ты налево».
«Да что же я, по-твоему — еврей?»
«Еврей снял это яблоко со древа
познания». «Ты, братец, дуралей.
Сняла-то Ева». «Видно, он и Ева».

«А всё ж, он был по-своему умен.
Является создателем науки.
И имя звучно». «Лучше без имен.
Боюсь, не отхватили бы мне руки
за этот смысловой палиндромон».
«Он тоже обрекал себя на муки.
Теперь он вождь народов и племен».
«Панмонголизм! как много в этом звуке».
«Он тоже вроде был приговорен».
«Наверно, не к разлуке». «Не к разлуке.

Что есть разлука?» «Знаешь, не пойму,
зачем тебе?» «Считай, для картотеки».
«Разлука — это судя по тому,
с кем расстанешься. Дело в человеке.
Где остаешься. Можно ль одному
остаться там, подавшись в имяреки?
Коль с близким, — отдаешь его кому?
Надолго ли?» «А ежели навеки?»
«Тогда стоишь и палишься во тьму
такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна.
И вздрагиваешь изредка от горя,
поскольку мрака явственность ясна.
И ни тебе лисичек или моря».
«А ежели за окнами весна?
Весной всё легче». «Спорно это». «Споря,
не забывай, что в окнах — белизна».
«Тогда ты — словно вырванное с поля».
«Земля не кровоточит, как десна».
«Ну, видимо, на то Господня воля...»

А что тебе разлука?» «Трепотня...
Ну, за спиной закрывшиеся двери.
И, если это день, сиянье дня».
«А если ночь?» «Смотря по атмосфере.
Ну, может, свет горящего огня.
А нет — скамья пустующая в сквере».
«Ты расставался с кем-нибудь, храня
воспоминанья?» «Лучше на примере».
«Ну, что ты скажешь, потеряв меня?»
«Вообще-то я не чувствую потери».

«Не чувствуешь? А всё твое нытье
о дружбе?» «Это верно и поныне.
Пока у нас совместное житье,
нам лучше, видно, вместе по причине
того, что бытиё...» «Да не на «ё»!
Не бытиё, а бытие». «Да ты не —
не придирайся... да, небытиё,
когда меня не будет уж в помине,
придаст однообразие равнине».
«Ты, стало быть, молчание мое...»

Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?»
 «Я ужинал». «И как тебе капуста?»
 «Щи оставляют в смысле густоты
 желать, конечно, лучшего: не густо».
 «А щи вообще, как правило, пусты.
 Есть даже поговорка». «Это грустно.
 Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!»
 «Всё — пусто». «Отличается на вкус-то,
 наверно, пустота от пустоты».
 «Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

«В такие нас забросило места,
 что ничего не остается, кроме
 как постничать задолго до Поста».
 «Ты говоришь о сумасшедшем доме?»
 «Да, наша география проста».
 «А что потом?» «Ты вечно о потом'е!
 Когда — потом?» «По снятии с креста».
 «О чем ты?!» «Отнесись как к идиоме».
 «Положат хоть лаврового листа».
 «А разведут попрежнему на бrome».

«Да, всё это не кончится добром.
 Бром вреден — так я думаю — здоровью».
 «И волосы вылазят. Это — бром!
 Ты приглядиись к любому изголовью:
 Бабанов расстается с серебром,
 Мицкевич с высыпающей бровью.
 И у меня на темени разгром.
 Он медленно приводит к малокровью».
 «Бром — стенка между бесом и ребром,
 чтоб мы мозги не портили любовью».

Я в армии глотал его». «Один?»
«Всей армией. Мы выдумали слово.
Он назывался «противостоин».
Какая с ним Уланова-Орлова!»
«Я был брюнет, а делаюсь блондин.
Пробор разрушен! Жалкая основа...
А ткани нет... не вышло до седин
дожить...» «Не забывай же основного».
«Чего не забывать мне, господин?»
«Быть может, не потребуются снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи».
«Мне холодно». «Засунул бы ты руки
под одеяло». «Правильно». «Скажи,
что есть любовь?» «Сказал...» «Но в каждом звуке
другие рубежи и этажи».
«Любовь есть предисловие к разлуке».
«Не может быть!» «Я памятником лжи
согласен стать, чтоб правнуки и внуки
мне на голову клали!» «Не блажи».
«Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна».
«Залеплено замазкой». «Безобразно».
Смотри, и батарея холодна!»
«Здесь вообще и холодно и грязно...
Смотри, звезда над деревом видна —
без телескопа». «Видно и на глаз, но
звезда не появляется одна».
«Я вдруг подумал — но, конечно, праздно —
что если крест да распилить бы на
дрова, взойдет ли дым крестообразно?»

«Ты спятил!» «Я не спятил, а блюду
твой интерес». «Похвальная сердечность».
Но что имеешь, собственно, ввиду?»
«Согреть окоченевшую конечность».
«Да, все мои конечности во льду».
«Я прав». «Но в этом есть бесчеловечность».
Сложи поленья лучше как звезду».
«Звезда, ты прав, напоминает вечность;
не то, что крест, к великому стыду».
«Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «Повидимому, ночь».
«Молю, не начинай о Зодиаке».
«Снаружи и жена моя, и дочь.
Что о любви, то верно и о браке».
«Я тоже поджениться бы непрочь.
А вот тебе не следовало». «Паки
и паки я гляжу, тебе невмочь,
что я женат». «Женился бы на мраке!»
«Ну, я к однообразью неохоч».
В семье есть ямы, есть и буераки».

«Который час?» «Да около ноля».
«О, это поздно». «Не имея вкуса
к цифири, я скажу тебе, что для
меня все «о» — предшественницы плюса».
«Ну, дали мои губы кругаля...
То ж следствие зевоты и прикуса.
Чего ты добиваешься, валя
всё в кучу?». «Недоступности Эльбруса».
«А соразмерной впадины земля
не создала?» «Отпраздновала труса».

«Уж если размышляешь о горе,
то думай о Голгофе, по причине
того, что уже март в календаре,
и я исчезну где-нибудь в лощине».
«Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,
сыграешь духа в этой чертовщине».
«На свой аршин ты меряешь, тире,
твоей двуглавой снеговой вершине
не уместиться ввек в моем аршине,
сжимающем сутробы во дворе».

ХIII

Разговоры о море

«Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.
Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор и не в укор
всё дело. То-есть, пусть его горит!...
В открытом и в смежающемся взоре
всё время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море».

«Больница. Ночь. Враждебная среда.
Внимать я не могу тебе без дрожи
от холода, но также от стыда
за светоч. Ибо море — это всё же
есть впадина. Однако же, туда
я не сойду, хоть истина дороже...
Но я не причиню тебе вреда!
Куда уж больше! Видимо, ты тоже
не столь уверен, море ли... Беда.
На что всё это, Господи, похоже?»

«Пожалуй, море... Чайки на молу
над бабой, в них швыряющейся коркой.
И ветер треплет драную полу,
хлеща волнообразною оборкой
ей туфли... И стоит она в пылу
визгливой битвы, с выбившейся челкой,
швыряет хлеб и пялится во мглу...
Как будто, став внезапно дальнзоркой,
высматривает в Турции пчелу».

«Да, это море. Именно оно.
Пучина бытия, откуда все мы,
как витязи, явились так давно,
что, не коснись ты снова этой темы,
забыл бы я, что существует дно
и горизонт, и прочие системы
пространства, кроме той, где суждено
нам видеть только крашенные стены
с лиловыми их полосами; но
умеющие слышати, да немые».

«Есть в жизни нечто большее, чем мы,
что греет нас, само себя не грея,
что громоздит на впадины холмы
— хотя бы и при помощи Борея,
друг другу их несущего взаимы.
Я чувствую, что шествую во сне я
ступеньками, ведущими из тьмы
то в бездну, то в преддверье эмпирея,
один, среди цветущей бахромы —
бессонным эскалатором Нерая.

«Но море слишком чуждая среда,
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.
Конечно, если не было там льда.
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам
конца не видно. Видно, на года,
как вся эта история с исходом,
рассчитаны они... Невесть куда
всё дальше побредешь ты с каждым годом,
туда, где с морем соткана вода...
К кому воззвать под этим небосводом?»

«Для этого душа моя слаба.
Я волны, а не крашенные наши
простенки узрю всюду, где судьба
прибьет меня — от Рая до параши.
И это, Горчаков, не похвальба:
в таком водонебесном ералаше,
о чем бы и была моя мольба?
Для слышати умеющего краше
валов артиллерийская пальба,
чем слезное моление о чаше».

«Но это — грех!... да что же я? Браня
тебя, забыл о выходке с дровами...
Мне помнится, ты спрашивал меня,
что снится мне. Я выразил словами,
и я сказал, что сон — наследье дня,
а ты назвал лисички островами.
Я это говорю тебе, клоня
к тому, что жестко нам под головами.
Теперь ты видишь море — трепотня!
И тот же сон, хоть с бóльшими правами».

«А что есть сон?» «Основа всех основ».
«И мы в него впадаем, словно реки».
«Мы в темноту впадаем, и хренов
твой вымысел. Что спрашивать с калеки!»
«Сон — выход из потемок». «Горбунов!
В каком живешь ты забываешь веке.
Твой сон не нов!» «И человек не нов».
«Зачем ты говоришь о человеке?»
«А человек есть выходец из снов».
«И что же в нем решающее?» «Веки.

Закроешь их и видишь темноту».
«Хотя бы и при свете?» «И при свете...
И вдруг заметишь первую черту.
Одна, другая... третья на примете.
В ушах шумит и холодно во рту.
Потом бегут по набережной дети,
и чайки хлеб хватают на лету...»
«А нет ли там меня, на парапете?»
«И всё, что вижу я в минуту ту,
реальнее, чем ты на табурете».

XIV

Разговор в разговоре

«Но это — бред! Ты слышишь, это бред!
Поди сюда, Бабанов, ты — свидетель!
Смотри: вот я встаю на табурет!
На мне халат без пуговиц и петель!
Ну, Горбунов, узрел меня ты?» «Нет».
«А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».
«Сейчас я размножу тебе портрет!
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
Сейчас из моря будет винегрет!
Ты слышишь, гад?» «Да я уже ответил».

«Ах так! Так пустим в дело кулаки!
Учить, учить приходится болванов!
На, получай! А ну-ка, прореки,
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?»
«По-моему, Гор-банов». «Ты грехи
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
сейчас полет твой окиян!» «Хи-хи».
«А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»
«Чего вы расшумелись, старики?»
«Уйди, Мицкевич!» «Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза
чувак закрыл, — завязывай; тем боле,
что ночь уже». «Да я и врзал за,
за то, что он закрыл их не от боли».
«Сказал тебе я: жми на тормоза».
«Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?
Да на кого ты тянешь, стрекоза?»
«Я пасть-ге разорву!» «Ой-ой, мозоли!»
«Эй, мужики, из-за чего буза?»
«Да пес поймет». «На хвост кому-то соли

насыпали». «Атас, идут врачи!»
«В кровати, живо!» «Я уже в постели!»
«Ты, Горбунов, закройся и молчи,
как будто спишь». «А он и в самом деле
уже заснул». «Атас, звенят ключи!»
«Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»
«Заткнись, кретин!» «Бабанов, не драчи».
«Оставь его» «Я, правда, еле-еле».
«Ну, Горбунов, попробуй настучи».
«Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»
«Вставанием... вставайте, раскоряки!»
«Есть жалобы у вас насчет харчей?»
«Я слышал шум, но я не вижу драки».
«Какая драка, свет моих очей?»
«Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».
«Ты не юли мне». «Чей это ручей?»
«Да это ссака». «Я же не о ссаке».
Не из чего, я спрашиваю — чей?»
«Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»
«Да мы, врачи, заботимся о быте».
«А Горбунов что не встает?» «Он спит».
«Он, значит, спит, а вы еще не спите».
«Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».
«Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».
«Чтоб слышно, если муха пролетит!»
«Мне б на оправку». «Утром, потерпите».
«Ты, Горчаков, ответственный за быт».
«Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»
«Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».
«На Пасху хорошо бы кулича».
«Да, разговеться. Маслица, колбаски...»
«Чего же не спросил ты у врача?»
«Ты мог бы это сделать без опаски:
он спрашивал». «Забыл я сгоряча».
«Заткнитесь, вы. Заладили о Пасхе».
«Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
льнет к Горбунову». «Это для отмазки».

«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь... Как спутались все пряди...
Как всё случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму...
Удобней так?... Я сам с собой в разладе.
Прости... мне это всё не по уму.
Спи... если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему.
Тут всё преграда. Только на преграде.

Спи, Горбунов. Пока труба отбой
не пропоеет... Всем предпочту наградам
стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
Ты не привык, а я привык к преградам.
Прости меня с моею похвальбой.
Прости меня со всем моим разладом...
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
Не над тобой, не под — а просто рядом.
А что до сроков — я прожду любой,
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?
И ты бредешь сквозь волны коридором...
И рыбы молча смотрят из дверей...
Я — за тобой... но тотчас перед взором
всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?!... Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, кончено с прибором...»

1965-68

VI

ПЕРЕВОДЫ

*Следующие четыре стихотворения
переведены с английского
Джона Донна (1573-1631).*

БЛОХА

Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.

Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
Блоха, от крови смешанной пьяна,
Пред вечным сном насытилась сполна;
Достигла больше нашего она.

Узри же в ней три жизни и почти
Ее вниманьем. Ибо в ней почти,
Нет, больше, чем женаты ты и я.
И ложе нам, и храм блоха сия.
Нас связывают крепче алтаря.
Живые стены цвета янтаря.
Щелчком ты можешь оборвать мой вздох.
Но не простит самоубийства Бог.
И святотатственно убийство трех.

Ах, всё же стал твой ноготь палачом,
В крови невинной обагрённым. В чем
Вообще блоха повинною была?
В той капле, что случайно отпила?...
Но, раз ты шепчешь, гордость затая,
Что, дескать, не ослабла мощь моя,
Не будь к моим претензиям глуха:
Ты меньше потеряешь от греха,
Чем выпила убитая блоха.

ШТОРМ

Кристоферу Бруку

Ты, столь подобный мне, что это лестно мне,
Но всё ж настолько ты, что этих строк вполне
Достаточно, чтоб ты, о мой двойник, притих,
Узнав, что речь пойдет о странствиях м о и х,
Прочти и ощутишь: зрачки и пальцы те,
Которы Хиллярд мнил оставить на холсте,
Пустились в дальний путь, и вот сегодня им
Художник худших свойств, увы, необходим.

Английская земля, что души и тела,
Как в рост — ростовщики, нам только в долг дала,
Скорбя о сыновьях своих, в чужом краю
Взыскующих судьбу, но чаще — смерть свою,
Вздыхнула грудью всей, и ветер поднялся.
Но, грянувшись вверху о наши небеса,
Он устремился вниз и, поглядев вперед,
Узрел в большом порту бездействующий флот,
Который чах во тьме, как узники в тюрьме.
И наши паруса набухли и взвились.
И мы, на палубах столпясь, смотрели ввысь.
И радовала нас их мощь и полнота,
Как Сарру — зрелище большого живота.
Но, добрый к нам тогда, он, в общем, не добрей
Способных бросить нас в глуши поводырей.
И вот, как два царя объединяют власть
И войско, чтоб затем на третьего напасть,
Обрушились на нас внезапно Зюйд и Вест.
И пропасти меж волн разверзнулись окрест.
И смерч, быстрее чем ты читаешь слово «смерч»,
Напал на паруса. Так выстрел, шлюющий смерть
Без адреса, порой встречает чью-то грудь.
И разразился шторм. И наш прервался путь.
Иона! жаль тебя. Да будет проклят тот,
Кто разбудил тебя во время шторма. От
Больших страданий сон, подобно смерти, нас
Спасает, не убив. Тебя же сон не спас!

Проснувшись, я узрел, что больше я не зрю.
Где Запад? Где Восток? Закат или зарю,
И Солнце и Луну кромешный мрак скрывал.
Но был, должно быть, день, коль мир существовал.
И тыщи звуков в гул, в единый гул слились.
Столь розны меж собой, все бурею звались.
Лишь молнии игла светила нам одна.
И дождь, как океан, что выпит был до дна,
Лился с небес. Одни, в каютах лежа без
Движенья, звали смерть, взамен дождя, с небес.
Другие лезли вверх, чтоб выглянуть туда,
Как души — из могил в день Страшного Суда,
И вопрошали мрак: «Что нового?» — как тот
Ревнивец, что, спросив, ответа в страхе ждет.
А трети в столбняке застыли в люках враз,
Отталкивая страх огнем безумных глаз.
Мы видели тогда: смертельно болен флот.
Знобило мачты, трюм разваливался от
Водянки ледяной. А дряхлый такелаж,
Казалось, в небесах читает «Отче наш».
Лохмотья парусов полощутся во мгле,
Как труп, что целый год болтается в петле.
Исторгнуты из гнезд, как зубы из десны,
Орудья, чьи стволы нас защищать должны.
И больше нет в нас сил откачивать, черпать;
Выплевывать затем, чтоб всасывать опять.
Мы все уже глухи от хаоса вокруг.
Нам нечего сказать, услышь мы новый звук.
В сравненьи с штормом сим любая смерть — понос,
Бермуды — Райский сад, Геенна — царство грез.
Мрак, света старший брат, во всей своей красе
Тщедушный свет изгнал на небеса. И все,
Все вещи суть одна, чья форма не видна.
Все формы пожрала Бесформенность одна.
И если во второй Господь не скажет раз
Свое «Да будет», знай: не будет дня для нас.
Столь страшен этот шторм, столь яростен и дик,
Что даже в мыслях грех к тебе воззвать, двойник.

ПРОЩАНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ГРУСТЬ

Как праведники в смертный час
Торопятся шепнуть душе:
«Ступай!» — и не спускают глаз
Друзья с них, говоря: «Уже».

Иль «Нет еще» — так в скорбный миг
И мы не обнажим страстей,
Чтоб встречи не принизил лик
Свидетеля разлуки сей.

Землетрясенье взор страшит,
Ввергает в темноту умы.
Когда ж небесный свод дрожит,
Беспечны и спокойны мы.

Так и любовь земных сердец:
Ей не принять, не побороть
Отсутствия. Оно — конец
Всего, к чему взывает плоть.

Но мы — мы любящие столь
Утонченно, что наших чувств
Не в силах потревожить боль
И скорбь разъединенных уст, —

Простимся. Ибо мы — одно.
Двух наших душ не расчленишь,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянет в нить.

Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,
Не двигаясь твоя душа,
Где движется душа моя.

И станешь ты вперяться в ночь
Здесь, в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляться вновь,
Чем больше или меньше круг.

Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.

ПОСЕЩЕНИЕ

Когда твой горький яд меня убьет,
Когда от притязаний и услуг
Моей любви отделаешься вдруг,
 К твоей постели тень моя придет.
И ты, уже во власти худших рук,
Ты вздрогнешь. И, приветствуя визит,
Свеча твоя погрузится во тьму.
 И ты прильнешь к соседу своему.
А он, уже устав, вообразит,
Что новой ласки просишь, и к стене
Подвинется в своем притворном сне,
 Тогда, о бедный Аспид мой, бледна,
В серебряном поту, совсем одна,
Ты в призрачности не уступишь мне.
Проклятия? Предпочитаю, чтобы ты
Раскаялась, чем черпала в слезах
Ту чистоту, которой нет в глазах.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А. А. Ахматовой 72
- Блоха 221
 Большая элегия Джону Донну 21
 «Был черный небосвод светлей
 тех ног» 33
- «В былые дни и я переживал» 134
 «В деревне Бог живет не по
 углам» 110
 «В коляску — если только
 тень» 144
 В распутицу 106
 «В эту зиму с ума» 136
 «Великий Гектор стрелами
 убит» 45
 «Великий человек смотрел в
 окно» 99
 Вечером 116
 «Вместе они любили» 37
 «Во вторник начался сентябрь» 156
 «Волквы забудут адрес твой» 115
 «Воротишься на родину. Ну
 что ж» 27
 «Вот я вновь посетил» 28
 «Всё чуждо в доме новому
 жильцу» 36
- Глаголы 66
 Горбунов и Горчаков 177
- Два сонета 45
 Два часа в резервуаре 161
 «День назывался 'первым
 сентября'» 129
 «Деревья в моем окне, в деревян-
 ном окне» 112
 «Джон Донн уснул, уснуло всё
 вокруг» 21
 Для школьного возраста 84
 «Дни бегут надо мной» 111
 «Дорогу развезло» 106
- «Если кончу дни под крылом
 голубки» 169
- «Желтый ветер манчжурский» 69
- Загадка ангелу 78
 «Закричат и захлопочут
 петухи» 72
 Зимним вечером в Ялте 135
 Зимняя свадьба 35
- «Идем, Исаак. Чего ты встал?
 Идем» 46
 «Из пасти льва» 132
 Из «Старых английских песен» 35
 Из «Школьной антологии» 119
 Исаак и Авраам 46
- К Ликомеру, на Скирос 92
 К северному краю 108
 «Каждый пред Богом» 67
 «Как жаль, что тем, что стало для
 меня» 98
 «Как праведники в смертный
 час» 224
 «Когда твой горький яд меня
 убьет» 226
- Ломтик медового месяца 80
- «Меня окружают молчаливые
 глаголы» 66
 «Мир одеял разрушен сном» 78
 «Мы будем жить с тобой на
 берегу» 85
 «Мы снова проживаем
 у залива» 45
- «На Прачечном мосту, где мы
 с тобой» 133
 «На прощанье — ни звука» 94
 «На ужин вновь была лапша,
 и ты» 105
 «Наступила зима. Песнопевец» 114
 «Не забывай никогда» 80
 «Не хотите спать в столе.
 Прытко» 130
- Новые стансы к Августе 156
 «Ну, что тебе приснилось,
 Горбунов?» 177

Обоз 104
«Огонь, ты слышишь, начал
угасать» 65
«Одна ворона (их была гурьба)»
83
Одной поэтессе 142
«Он умер в январе, в начале
года» 139
Орфей и Артемида 114
Остановка в пустыне 166
От окраины к центру 28
«Отказом от скорбного перечня —
жест» 87

1 сентября 129
1 января 1965 года 115
Песенка о Феде Добровольском 69
Песни счастливой зимы 82
Письмо в бутылке 148
«Плывет в тоске необъяснимой»
19
«Под вечер он видит, застывши в
дверях» 63
«Подруга милая, кабак всё тот
же» 93
Подсвечник 117
Посещение 226
Послание к стихам 130
Почти элегия 134
«Провинция справляет
Рождество» 89
Проплывают облака 70
Пророчество 85
«Прошел январь за окнами
тюрьмы» 74
Прощайте, мадмуазель
Вероника 169
Прощанье, запрещающее
грусть 224

Рождественский романс 19

С грустью и с нежностью 105
«Садовник в ватнике, как
дрозд» 103
«Сатир, покинув бронзовый
ручей» 117
«Северный край, укрой» 108
Семь лет спустя 100
«Скрип телег тем сильней» 104
«Слышишь ли, слышишь ли ты в
роще детское пение» 70
«Снег сено запорошил» 116
Сонет 74, 98

Стихи в апреле 136
Стихи на смерть Т. С. Элиота 139
Стихи под эпитафием 67
Строфы 94
«Сумев отгородиться от
людей» 128
«Сухое левантинское лицо» 135

«Так долго вместе прожили, что
вновь» 100
«Теперь всё чаще чувствую
усталость» 34
«Теперь так мало греков
в Ленинграде» 166
«То, куда вытянут нос и рот» 148
«Топилась печь. Огонь дрожал во
тьме» 113
«Ты выпорхнешь, малиновка, из
трех» 81
«Ты знаешь, с наступленьем
темноты» 84
«Ты поскачешь во мраке по бес-
крайним холодным холмам» 43
«Ты, столь подобный мне, что это
лестно мне» 222

«Узри в блохе, что мирно льнет
к стене» 221

Фонтан 132

Холмы 37

Шторм 222

«Э. Ларионова. Брюнетка.
Дочь» 119
Элегия 93
Эней и Дидона 99

«Я вышла замуж в январе» 35
«Я есть антифашист и
антифауст» 161
«Я заражен нормальным класси-
цизмом» 142
«Я обнял эти плечи и взглянул» 77
«Я покидаю город, как Тезей» 92

Anno Domini 89
Einem alten Architekten in
Rom 144

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Иосиф Бродский (биографическая справка)	5
«Заметки для памяти»	7

I. ХОЛМЫ

Рождественский романс	19
Большая элегия Джону Донну	21
«Воротишься на родину...»	27
От окраины к центру	28
«Был черный небосвод...»	33
«Теперь всё чаще...»	34
Зимняя свадьба (из «Старых английских песен»)	35
«Всё чуждо в доме...»	36
Холмы	37
«Ты поскачешь во мраке...»	43
Два сонета	45
Исаак и Авраам	46
«Под вечер он видит...»	63
«Огонь, ты слышишь...»	65
Глаголы	66
Стихи под эпитафией	67
Песенка о Феде Добровольском	69
Проплывают облака	70
А. А. Ахматовой	72
Сонет	74

II. ANNO DOMINI

«Я обнял эти плечи...»	77
Загадка ангелу	78
Ломтик медового месяца	80
«Ты выпорхнешь, малиновка...»	81
Песни счастливой зимы	82
«Одна ворона...»	83
Для школьного возраста	84

Пророчество	85
«Отказом от скорбного перечня...»	87
Anno Domini	89
К Ликомеду, на Скирос	92
Элегия	93
Строфы	94
Сонет	98
Эней и Дидона	99
Семь лет спустя	100

III. ФОНТАН

Садовник в ватнике	103
Обоз	104
С грустью и с нежностью	105
В распутицу	106
К северному краю	108
«В деревне Бог...»	110
«Дни бегут надо мной...»	111
«Деревья в моем окне...»	112
«Топилась печь...»	113
Орфей и Артемида	114
1 января 1965 года	115
Вечером	116
Подсвечник	117
Из «Школьной антологии»	119
«Сумев отгородиться...»	128
1 сентября	129
Послание к стихам	130
Фонтан	132
«На Прачечном мосту...»	133
Почти элегия	134
Зимним вечером в Ялте	135
Стихи в апреле	136

IV. ПОЭМЫ

Стихи на смерть Т. С. Элиота	139
Одной поэтессе	142
Einem alten Architekten in Rom	144
Письмо в бутылке	148
Новые стансы к Августе	156
Два часа в резервуаре	161
Остановка в пустыне	166
Прощайте, мадмуазель Вероника	169

V. ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

Горбунов и Горчаков	177
---------------------------	-----

VI. ПЕРЕВОДЫ

Блоха	221
Шторм	222
Прощанье, запрещающее грусть	224
Посещение	226
Алфавитный указатель	227